

ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА



ГЕНРИК
СЕНКЕВИЧ
КРЕСТОНОСЦЫ



Генрик Сенкевич

Крестоносцы

«АСТ»

1900

Сенкевич Г.

Крестоносцы / Г. Сенкевич — «АСТ», 1900

В томе представлено самое известное произведение классика польской литературы Генрика Сенкевича.

© Сенкевич Г., 1900

© АСТ, 1900

Содержание

Генрик Сенкевич и его роман «Крестоносцы»	5
Часть первая	14
I	14
II	21
III	31
IV	37
V	48
VI	67
VII	80
VIII	85
IX	89
X	93
XI	101
XII	109
XIII	113
XIV	117
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Генрик Сенкевич

Крестоносцы

Генрик Сенкевич и его роман «Крестоносцы»

Генрик Сенкевич – самый знаменитый в мире из польских писателей. Его творчество уже более ста лет пользуется заслуженной популярностью у читателей не только в Польше, но и далеко за ее пределами. Оно, несомненно, принадлежит к вершинным достижениям польской и мировой литературы. Наряду с другими крупнейшими польскими писателями второй половины XIX века – Элизой Ожешко и Болеславом Прусом – Сенкевич сыграл ведущую роль в развитии реалистического направления в польской прозе.

Жизнь и творчество Сенкевича пришлось на эпоху, когда Польша, поделенная в конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией, давно уже не существовала как самостоятельное государство. Страны-захватчики проводили политику русификации и германизации польских земель.

В 1863 году, незадолго до литературного дебюта Сенкевича, в русской части Польши вспыхнуло национально-освободительное восстание, которое было жестоко подавлено. На патриотическую шляхту, главную силу восстания, обрушился град политических и экономических репрессий. Это было уже второе восстание (первое – в 1830—1831 годах), которое потерпело поражение. Польское общество пребывало в унынии. Казалось, у Польши нет никаких перспектив на свободное развитие, на сохранение национальных традиций и даже на укрепление свободолюбивого духа, всегда отличавшего поляков. Как свидетельствуют современники, женщины тогда годами ходили в трауре, носили строгие платья, в моде были патриотические медальоны, перстни и брошки в форме цепей и кандалов, с изображением распятого орла в терновом венце. Когда же молодой Сенкевич начал выступать с публицистическими статьями, направленными против антипольской политики царизма, он вынужден был печатать их за рубежом и под псевдонимами. Парадоксально, но писатель формально был русским подданным, и в 1904 году французское правительство наградило его орденом Почетного легиона, как... русского писателя.

В этих условиях литература тем более была призвана играть спланированную роль и, поддерживая духовное единство нации, обеспечивая непрерывность развития ее культуры и языка, содействовать росту национального самосознания, а значит, и свободолюбивых устремлений. Сенкевич оказался тем писателем, которому «время и место» предопределили важную историческую роль – самой жизнью его творчество было направлено на «поддержание духа» соотечественников. Он стал вдохновенным выразителем стремлений польского народа к независимости, писателем, который в качестве главной ценности жизни поляка утверждал идею любви к своей земле, что в сочетании с выдающимся художественным талантом и определило его особое место и значение в истории польской и мировой культуры.

Генрик Сенкевич родился 5 мая 1846 года в обедневшей шляхетской семье на Подляшье, в деревне Воля Окшейская. Детские годы он провел в деревне, близко наблюдая крестьянскую жизнь. Эти впечатления позже, когда он начал писать, послужили материалом для его ранних рассказов – вспомним хотя бы многократно изданный на русском языке рассказ «Янко-музыкант» (1879) о трагической судьбе талантливого деревенского мальчика, до смерти забитого невежественным мужиком.

Учиться Сенкевич отправился в Варшаву, где окончил гимназию, а в 1866 году поступил вначале на медицинский, а затем на филологический факультет Главной школы (с 1869 года

Императорского Варшавского университета), который и окончил. Еще на студенческой скамье Сенкевич занялся журналистикой – в 1869 году опубликовал свою первую театральную рецензию. После окончания Главной школы он становится сотрудником журнала «Нива» и «Газеты Польской», в которых печатает фельетоны, литературно-критические заметки и новеллы. Уже первые художественные произведения (две новеллы под названием «Юморески из портфеля Воршилы», 1872, а затем и другие рассказы и повести), превосходные по форме и воплощавшие авторские идеи служения истине и родине, общественной пользе, принесли писателю известность. «Шедевр с эстетической точки зрения» – так отозвался о повести Сенкевича из деревенской жизни «Эскизы углем» в 1877 году Болеслав Прус. В переводе на русский язык повесть была напечатана в 1880 году в июньском номере журнала «Отечественные записки» М.Е. Салтыкова-Щедрина с примечанием: «Автор этих эскизов, Сенкевич, принадлежит к числу талантливейших современных польских писателей».

В становлении писательского таланта Сенкевича не последнюю роль сыграло прекрасное знание им русской литературы. Знание русского языка он вынес из гимназии, где преподавание велось на русском, а в университете посещал лекции по истории русской литературы. В его произведениях встречаются мотивы, в которых узнаются сюжеты и типы из произведений русских писателей, а в языке исследователи отмечают русизмы. Известный историк польской литературы Петр Хмелевский писал в 1910 году, когда известность Сенкевича была уже мировой: «Мы не знаем точно, сколько и какие книги русских авторов прочитал молодой Сенкевич, но не вызывает сомнения его тесное знакомство с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева. Влияние Гоголя и Тургенева на раннего Сенкевича неоспоримо. Обладая по своей натуре склонностью к *сатирической шутке* (курсив мой. – В.Х.), он у Гоголя учился искусству, если можно так выразиться, пользоваться ею; а художественно совершенные повести и новеллы Тургенева развили и укрепили в нем врожденное умение чувствовать красоту природы и склонность к предметному изображению людей и событий».

Сенкевич высоко ценил творчество Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. В 1908 году в статье, посвященной восьмидесятилетию Толстого, он писал: «Толстой – самое высокое дерево в лесу русской литературы. Это такой талант, который мог взрасти только на русской почве. За ним целые столетия русской исторической и общественной жизни».

Сенкевич много путешествовал, подолгу жил в разных европейских странах, неоднократно посещал Италию и Францию. В 1876—1878 годах он был корреспондентом «Газеты Польской» в Соединенных Штатах Америки. Из наблюдений над европейской и американской жизнью родились его путевые очерки и заметки, которые до сих пор заслуженно считаются образцами жанра, а также повести и рассказы.

В 1890—1891 годах Сенкевич путешествовал по Африке (Египет, Занзибар). Итогом этого путешествия были не только два убитых им на охоте гиппопотама и заболевание малярией, но и «Письма из Африки» (1891—1892) и приключенческая повесть «В пустыне и пуще» (1911). В ней действуют польский мальчик Стась и восьмилетняя англичанка Нелли. Во время восстания в Судане против англичан в 1885 году они становятся заложниками суданских магометан, но бегут из плена и совершают длительное и трудное путешествие по Африке. Четырнадцатилетний Стась спасает себя и своих друзей и в завершение высекает на скале Килиманджаро слова из польского гимна «Еще Польша не погибла».

В 70—80-е годы Сенкевич создал подлинные шедевры новеллистики – «Янко-музыкант» (1879), «Из дневника познаньского учителя» (1879), «Ангел» (1880), «За хлебом» (1880), «Фонарщик на маяке» (1881), «Бартек-победитель» (1882), «Сахем» (1883) и другие. Еще при жизни писателя, в 1911 году, польский критик Антони Потоцкий верно писал о том, что даже если бы по какой-то фатальной причине от творчества Сенкевича сохранились одни новеллы, его имя навсегда осталось бы в литературе.

Каких бы сюжетов ни касался в своих рассказах и повестях писатель, будь то отношения крестьян и помещиков, скитания польских эмигрантов на чужбине, онемечивание польских школ, вырождение аристократии или даже печальная участь индейцев в Америке – во всех произведениях он стремился пробудить в читателе чувство патриотизма, сознание личного долга перед родиной, лишенной национальной самостоятельности.

Прекрасные возможности для воплощения этих идей предоставлял жанр исторического романа, к которому и обратился Сенкевич в пору расцвета своего таланта. Очевидно, что без интереса к прошлому, без исторического самоощущения, без конкретного знания истории своего народа и ее места в общей истории человечества не бывает созидательного чувства любви к своей земле. Видимо, поэтому в наиболее острые периоды истории и возникает потребность в особом переживании «связи времен», которую способна удовлетворить только литература.

В 80-е годы появляется знаменитая трилогия Сенкевича на сюжеты из польской истории XVII века: «Огнем и мечом» (1884) – о борьбе шляхетской Речи Посполитой с восставшей Украиной времен Богдана Хмельницкого, «Потоп» (1886) – о сопротивлении поляков шведской интервенции, «Пан Володыевский» (1888) – об отпоре турецкому нашествию. Этот цикл исторических романов произвел на читателей огромное впечатление – несмотря на то что в нем были представлены отдаленные времена, он пробуждал и поддерживал волю народа к сопротивлению захватчикам.

Трилогия принесла Сенкевичу славу, какой не имел до тех пор в Польше ни один из польских писателей.

Казалось бы, трудно представить более удачную судьбу – читательский успех, всенародная слава, известность за пределами Польши. Но одновременно с этим личная жизнь писателя складывалась трудно и даже трагично. В тридцать пять лет он впервые женился, но через четыре года овдовел. В сорок семь лет он решился на новый брак, но его девятнадцатилетняя жена сбежала через две недели после свадьбы, и через три года все закончилось разводом. В пятьдесят восемь лет Сенкевич женился на сорокалетней Марии Барской, которая влюбилась в писателя еще в 1888 году и ждала его шестнадцать лет. Отголоски этих переживаний нашли отражение в произведениях писателя не только на современные темы – личный опыт чувств дал ему огромный психологический материал, спроецированный и на исторические сюжеты. В его исторических романах жили, страдали, боролись, умирали живые люди, и именно это привлекало к ним читателей, вызывало в современниках особое ощущение истории как переживания жизни, в которой есть взаимозависимые прошлое, настоящее, будущее.

В 90-е годы Сенкевич продолжал напряженную работу над новыми историческими романами. В 1896 году появился его роман «Quo vadis?» (в русском переводе «Камо грядеши?»), который принес ему мировую известность и был удостоен в 1905 году Нобелевской премии. Этот роман из истории гонений на христиан в Древнем Риме при Нероне привлек к себе внимание читателей не только ярким и красочным изображением быта и нравов языческого Рима, но и вызывавшим массу ассоциаций с современностью сильным эмоциональным протестом против деспотизма.

В 1900 году был издан роман «Крестоносцы», о котором еще пойдет речь.

Наряду с историческими шедеврами Сенкевич тогда же создал ряд романов из современной жизни: «Без догмата» (1890), «Семья Поланецких» (1894), «Омуты» (1910). Лучший из них – психологический роман «Без догмата», в котором написан портрет польского декадента, проанализированы причины деградации личности молодого человека, не находящего применения своим способностям. Жизнь «без догмата», без чувства общественного или патриотического долга приводит главного героя романа Леона Плошовского к катастрофе в личной жизни и в конечном итоге к самоубийству. Роман высоко оценили Лев Толстой, Чехов и Горький,

причислив его к лучшим достижениям европейской прозы своего времени. 18 марта 1890 года Толстой записал в дневнике: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ».

Произведения Сенкевича были переведены на многие иностранные языки, изданы большими тиражами в европейских странах, в Америке, Азии и Африке (в Египте). Огромным успехом пользовались романы Сенкевича и в России, где они издавались сразу, как были написаны, иногда переводились чуть ли не по корректурным листам. По популярности у русских читателей и месту, которое его книги занимали в круге чтения российского интеллигента, а значит, влияли на формирование общественного сознания, Сенкевич соперничал тогда с такими гигантами мировой литературы, как Лев Толстой и Эмиль Золя. Первые русские переводы произведений Сенкевича появились в 1880 году и с тех пор издавались в России бесчисленное количество раз. Начиная с 1899 года на русском языке вышло полтора десятка собранных сочинений Сенкевича (последнее, в девяти томах, – в 1985 году), а роман «Крестоносцы» выдержал более двадцати пяти изданий.

В последние годы жизни Сенкевич много сил отдал организации помощи полякам – жертвам Первой мировой войны, основав для этого в Швейцарии специальный комитет. В Швейцарии, в местечке Веце, писатель и скончался 15 ноября 1916 года. В 1924 году его прах был перенесен на родину и погребен в Варшаве в склепе кафедрального собора Святого Яна.

Роман «Крестоносцы» был задуман Сенкевичем в 1891 году, работал он над ним в 1896—1900 годах в Польше (Варшаве и Закопане), в Австрии, Франции, Швейцарии и Италии. С 1897 года, по мере написания, главы романа печатались в варшавских журналах «Слово» и «Тыгодник иллюстрированный», а также в «Дзеньнике познаньском». Отдельным изданием книга вышла в 1900 году.

Роман воскрешал героические традиции совместной борьбы поляков и литовцев с Тевтонским орденом на рубеже XIV—XV веков.

Тевтонский орден, или Орден крестоносцев (крестоносцы носили белые плащи с черным крестом), был немецким католическим духовно-рыцарским сообществом, основанным в XII веке, в эпоху крестовых походов. Захватив Поморье, орден стремился к дальнейшим территориальным приобретениям за счет Польши и Литвы. Литву он пытался покорить под предлогом необходимости христианизации язычников. Польша добивалась воссоединения своих исконных земель и объединения с Литвой для совместного противостояния тевтонской агрессии. Решающая схватка с крестоносцами произошла под Грюнвальдом 15 июля 1410 года. Наряду с польскими и литовскими полками в ней участвовали и покрыли себя славой и три русских полка Смоленской земли.

Грюнвальдская битва, которая завершает роман «Крестоносцы», привела к крушению Тевтонского ордена и на долгое время обеспечила безопасность Польши и Литвы. Она сломила военно-политическую силу немецкого рыцарства, стремившегося покорить Восточную Европу, и стала символом мощи польского народа и его непокорности в борьбе за свободу. Понятно, как актуальны были эти чувства для поляков, до свободы которых оставалось еще почти два десятилетия.

Сверхзадачей Сенкевича, как и в трилогии «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский», было укрепить «польский дух», на этот раз на историческом примере победы над крестоносцами, вдохновить поляков на отпор прусским милитаристам. Как раз в 70—90-е годы XIX века под руководством рейхсканцлера германской империи Бисмарка проводилась особенно ожесточенная политика насильственной германизации польских земель. Духом патриотического протеста были проникнуты в эти годы произведения многих польских писателей – повесть Болеслава Пруса «Форпост» (1885), рассказ Марии Конопницкой «Глупый Франек» и ее поэтические произведения «Грюнвальд», «Ходили тут немцы», «К границе», «Присяга» и др., а также рассказы и повести Сенкевича. Против прусских гонений на поляков Сенкевич

выступал и как публицист. В своих статьях он писал о Бисмарке как о политике, который «в международных отношениях знал только насилие», о том, что «история свидетельствует: здания, воздвигнутые только на тирании, злости и глупости, никогда долго не стояли» и потому «немецкое государство, будь то Пруссия или какое-нибудь другое, которое бы затеяло войну со славянами, уготовило бы себе неизбежную гибель».

По словам Сенкевича, роман «Крестоносцы» возник из переживаемого им «чувства национальной гордости, противостоящей современной доле народа». Эти мысли писателя явились и творческим импульсом, и основой концепции его нового исторического романа.

Тема борьбы с крестоносцами издавна привлекала польских писателей, и в ее разработке Сенкевич имел ярких предшественников. К ней обращались великие польские романтики: Адам Мицкевич в романтических поэмах «Гражина» (1823) и «Конрад Валленрод» (1828), Юлиуш Словацкий в поэме «Гуго» (1830) и пьесе «Миндовг» (1832). Романтические сюжеты этих произведений строились на актуальных для поляков проблемах: верность и измена, патриотизм, гибель за свободу отчизны. Именно с них в польской литературе началось освоение исторического жанра и героико-патетических мотивов на материале национальной истории.

Ближайшим предшественником Сенкевича в изображении борьбы народов Польши и Литвы с тевтонским рыцарством был Юзеф Игнацы Крашевский. Из более ста романов этого известного писателя несколько посвящены борьбе с крестоносцами, в том числе роман «Крестоносцы. 1410. Картины из прошлого» (1882), появившийся за восемнадцать лет до романа Сенкевича. В рецензии на этот роман Сенкевич отмечал, что в нем «политическая история всюду преобладает над археологией и бытовой стороной тогдашней жизни – всюду выступает на передний план... Не история является фоном, на котором автор рисует судьбы героев, но именно они только как бы прибавлены – в силу романического требования – к событиям, непомерно их превышающим».

В своем романе Сенкевич пошел прямо противоположным путем. У него в центре повествования оказываются как раз судьбы частных лиц, переплетенные с большими историческими событиями. Образ эпохи он стремился воссоздать в поступках и переживаниях представителей разных социальных слоев польского общества, прежде всего шляхты. Сделать это было нелегко даже такому опытному историческому романисту, как Сенкевич. «Как тема для исторического романа, – писал он, – эта была во всех отношениях самой трудной из всех разработанных мною. Описывая времена Нерона, располагаешь таким богатым историческим материалом, что не знаешь, за что приняться сперва, хотя эта эпоха удалена от нас почти на две тысячи лет; между тем о XV веке у нас совершенно нет подобных источников; хотя он ближе к нам на пятнадцать столетий, мы знаем о нем непомерно мало, так что почти все надо угадывать интуитивно. Как думал и чувствовал римлянин в первом веке нашей эры, мы знаем превосходно, а как думали и чувствовали поляк и литвин времен Витовта, на этот счет возникают тысячи сомнений».

Тем не менее писатель блестяще справился с поставленной задачей и не погрешил против исторической правды. Работая над романом, Сенкевич изучил множество источников, в первую очередь обширную «Историю Польши» (1455—1480) первого польского историка Яна Длугоша, трехтомную монографию Кароля Шайнохи «Ядвига и Ягелло» (1855—1856), работы польских историков XVI века Марцина Кромера и Марцина Бельского, древнейшую польскую хронику Галла Анонима (начало XII века), труды многих других польских и зарубежных историков XIX века.

Для передачи колорита эпохи Сенкевич изучал древние городские акты, в которых, по его словам, «в латинских или немецких текстах часто встречались свидетельские показания поляков. Там я нашел множество старых выражений и давно исчезнувших форм. Немало дал мне и гуральский диалект в Татрах». Великолепный стилист, Сенкевич использовал язык древних актов и диалект горцев, в которых сохранились лексика и формы старопольской речи, не

для воскрешения языка минувшей эпохи, а для умеренной, доступной современному читателю архаизации повествования (в целом сохраненной и в русском переводе).

Фабула романа лишь на первый взгляд кажется простой. Его центральный герой, юный Збышко, влюбляется в Данусю, и история этой любви становится стержнем, на который нанизываются бесчисленные приключения, происходящие с героями. Важнейшим из них является похищение девушки крестоносцами, которое втягивает в интригу многих людей, влечет за собой целую цепь событий. Дануся погибает, а Збышко обретает счастье с Ягенкой. Частные эпизоды столкновений главных героев романа (Збышка, его дяди Мацька, отца Дануси, Юранда) с крестоносцами – это звенья одной цепи борьбы польского народа с исконными врагами, которая увенчивается решающей победной битвой.

В романе разворачивается панорама подлинных событий, в которых принимают участие как исторические лица, так и вымышленные герои. Многочисленные персонажи романа – а их более двухсот – разделены на два лагеря: польско-литовских защитников свободы и их врагов – крестоносцев. Каждый из лагерей возглавляют исторические личности, обрисованные с разной степенью глубины. Своим присутствием в романе они подтверждают истинность исторической коллизии, которая служит фоном повествования и причиной частных конфликтов. Приведем важные для понимания романа сведения о некоторых реальных лицах.

Против «безбожной» тевтонской политики разбоя выступает в романе страж христианской справедливости польский король Владислав Ягелло (ок. 1350—1434), бывший великий князь литовский Ягайло, который в 1385 году в замке Крево заключил союз между Польшей и Литвой. В 1386 году он обвенчался с польской королевой Ядвигой, принял католичество и стал польским королем, положив начало польской королевской династии Ягеллонов. Его жена Ядвига (ок. 1374—1399), королева Польши (1384—1385), в четырехлетнем возрасте была обручена с восьмилетним австрийским князем Вильгельмом из рода Габсбургов, но позднее этот брак был расторгнут. Ядвига наделена в романе Сенкевича чертами христианского самопожертвования, кротости, даром ясновидения. Она способствовала крещению Литвы и объединению ее с Польшей и благодаря своему христианскому милосердию почиталась в народе святой. Кстати, уже в наши дни, в 1997 году, папой римским Иоанном Павлом II Ядвига была причислена к лику святых.

Великий князь литовский Витовт (Витольд, Витаустас) (ок. 1350—1430) – двоюродный брат Владислава Ягелло. Соперничая с ним, Витовт неоднократно прибегал к помощи крестоносцев, но, получив в 1392 году в свое правление всю Литву, помирился с братом. Во время Грюнвальдской битвы он командовал литовскими отрядами.

Януш I (ок. 1340—1429) – князь Мазовии (именно он сделал столицей княжества Варшаву). В 1409—1410 гг. организовал вооруженные отряды для борьбы с крестоносцами в помощь Владиславу Ягелло. Более активное участие в событиях романа принимает его жена Анна Данута (1360—1448).

Историческую достоверность придают роману и многочисленные образы действительно существовавших польских рыцарей, сведения о которых Сенкевич почерпнул из исторических хроник. Все они искусны в ратном деле, мужественны и физически сильны. Это легендарный Завиша Чарный из Гарбова, герба Сулима, «рыцарь без страха и упрека», образец рыцарских достоинств. Завиша, как пишет о нем Сенкевич в романе, был «самым грозным из всех поляков» в Грюнвальдской битве. В 1428 году он был убит в турецком плену. Это и Якуб из Кобылян (ок. 1380 – после 1419), и играющий заметную роль в повествовании Миколай Повала из Тачева, «обладавший нечеловеческой силой», и умелый предводитель краковской хоругви польского войска под Грюнвальдом Зындрам из Машковиц (ум. ок. 1414 г.), и другие рыцари. В романе упомянуты и многие реальные духовные лица – епископы и архиепископы, а также воеводы, старосты (королевские наместники), каштеляны (правители замка с округой), королевские и княжеские придворные – стольники, подчашии, ловчие, мечники и др.

На другом полюсе – предводители Тевтонского ордена: Конрад фон Юнгинген, великий магистр ордена в 1393—1407 годах, сменивший Конрада на этом посту его брат Ульрих, убитый под Грюнвальдом, некоторые другие крестоносцы.

Исторические личности присутствуют в романе на втором плане. Читатель знакомится с ними, понимает их историческое значение, но в «непосредственное общение» с ними не входит. На первом плане действуют вымышленные герои, и именно в раскрытии их характеров проявился необычайный повествовательный дар Сенкевича, его умение создавать яркие, живые образы людей далекого прошлого с их психологически достоверными и, как мы скажем, глубоко мотивированными переживаниями и поступками, а также поражающие эпической силой батальные сцены. Именно через сложные перипетии судеб персонажей «история со стихийной силой вливается в роман», как писал сам Сенкевич о своем творческом методе, восходящем к приключенческим романам Вальтера Скотта и Александра Дюма.

Хотя роман и называется «Крестоносцы», в центре повествования не тевтонские, а польские рыцари, шляхта. Крупным планом даны ее представители – Збышко, Мацько и Юранд. Именно эти «тенденциозно выразительные персонажи» (по определению польской критики), каждый со своей судьбой, каждый со своим неповторимым характером, в первую очередь воплощают этос польского рыцарства, который определяется любовью к родной земле, заботой о чести своего имени, верностью своему слову, Богу и присяге. Индивидуальным судьбам и поступкам героев, их личным горестям придается обобщающий смысл.

К важнейшим чертам польского рыцаря Сенкевич относит физическую мощь и личное мужество. Збышек выжимает сок из дерева, Повала из Тачева сгибает стальной тесак, рыцари прыгают в полном облачении через коня, охотятся на лютых зверей, участвуют и побеждают в многочисленных рыцарских ристалищах, поединках и битвах.

В стремлении верно передать кругозор и психологию людей изображаемой эпохи Сенкевич описывает и их предрассудки, оставшиеся от времен язычества и вновь приобретенные (например, вера в леших, домовых и упырей, которым надо оставлять еду и питье, чтобы они не причинили вреда, поверья о злых духах, дьяволе и чертях, рассуждения о полномочиях разных святых на небесах). Создавая психологически достоверные портреты своих героев, он наделяет их индивидуальными чертами. Збышко – молод и горяч, восторжен и упрям; Мацько – умен, хитер, но и жаден («алчный до земли и мужиков»); Юранд переживает трагическую ломку своих представлений о справедливости, и т. д. Идеализируя в целом польских рыцарей, Сенкевич позволяет себе и иронизировать над своими героями. Например, подражая западным рыцарям, Збышко вызывает на поединок несогласных с тем, что его избранница прекраснее всех других женщин, и прибавляет доску с этими словами к стенам городов, где ему пришлось бывать.

В соответствии с реалиями эпохи Сенкевич описывает беспощадность, мстительность, ожесточенность рыцарей по отношению к врагам. Таков один из наиболее ярких героев романа – Юранд. Но изувеченный Зигфридом де Лёве, Юранд в конечном итоге побеждает своего злейшего врага не жестокостью, а гуманностью, отпуская своего палача и палача своей дочери Дануси на все четыре стороны и отдавая его на суд Божий (который не замедлил свершиться: Зигфрид сходит с ума и вешается на дереве).

Польская шляхта борется за правое дело. В этом убеждается странствующий рыцарь де Лорш из Лотарингии. Поначалу он примкнул к крестоносцам, полагая, что «на тевтонской границе обитают сарацины». Осознав истину, он переходит на сторону Польши и обретает в новой своей отчизне личное счастье. Находит в Польше новую родину и чех Глава (Гловач). Когда-то взятый в плен отцом Ягенки, он становится оруженосцем Збышка и доблестно сражается вместе с поляками против тевтонов. «Гловач, – писал об этом персонаже выдающийся польский историк литературы Ю. Кшижановский, – вырастает в польское рыцарство, и сыновья

или внуки арендатора Спыхова, возможно, только в геральдической легенде сохраняют память о своей родословной».

Польская шляхта, сочетавшая соблюдение рыцарского кодекса чести с сознанием своего священного долга защищать родину от разграбления и уничтожения, противостоит в романе, как это было и в действительности, крестоносцам. Тевтоны выдавали себя за оплот христианства, но на деле, как показывает Сенкевич, препятствовали крещению Жмуди и разжигали распри между соседними княжествами, чтобы иметь постоянный предлог для захватов и грабежей. Стремясь к расширению своего господства, они не гнушались ни вероломством, ни клятвопреступлением. Называя себя рыцарями, на деле они нарушали все рыцарские заветы. Алчность, жестокость, интриганство крестоносцев в романе олицетворяют образы Куно Лихтенштейна, Гуго фон Данфельда, Ротгера, Зигфрида де Лёве и других. Эти образы также индивидуализированы. Сатирически обрисован в романе Гуго фон Данфельд, похотливый монах, упивающийся своим могуществом, почитающий вероломство за доблесть, а грабеж и глумление над противником – за священный долг рыцаря. Еще более выразителен демонический образ де Лёве, продавшего, как считают некоторые герои романа, свою душу дьяволу (что согласуется с народными представлениями о крестоносцах как о чернокнижниках, поклонявшихся сатане).

При всем том Сенкевич старался в изображении крестоносцев избежать явной односторонности. Молодой тевтонский рыцарь Ротгер столь же искренен в своих религиозных убеждениях, отважен и силен, как и Збышко, с которым он вступил в смертельный поединок. Но в отличие от Збышко Ротгеру, воспитанному в традициях ордена, ничего не стоит ложно поклясться рыцарской честью или именем Христа. Конрада фон Юнгингена Сенкевич наделяет позитивными чертами и даже верным пониманием того, что «здание, воздвигнутое на чужой земле и на чужих обидах, основанное на лжи, жестокости и кознях, не может быть долговечным». Но Конрад не может совладать с беззакониями ордена, он вынужден разделять его безнравственные принципы. В этом образе писатель выносит безжалостный приговор всему Тевтонскому ордену.

Безусловно верно, что роман Сенкевича – это историческое поучение о неизбежности краха агрессора, яркая страница польской истории. Но вместе с тем столь же очевидно, что это и роман об общечеловеческих страстях, о больших и могучих чувствах, переданных с необычайной экспрессией. «Историческая отдаленность и огромная эмоциональная близость», – написала о романе Мария Конопницкая сразу после его появления. Испепеляющей человека жажде ненависти и мести, безграничным страданиям и несчастьям масштаба античной трагедии, боли, страху, отчаянию, смерти в романе противопоставлены любовь, верность, дружба, доброта, милосердие, святость, жизнь.

Именно на основе высоких моральных стремлений и побуждений, на принципах справедливости должны, по Сенкевичу, строиться отношения между людьми и народами. Патриотизм для Сенкевича – это уважение национального достоинства всех народов. «Я принадлежу к тем людям, – писал он, – которые считают, что идея отчизны должна занимать первостепенное место в душе и сердце человека, но лозунгом всех патриотов должно быть: *Через отчизну к человечеству*, а не: *Для отчизны против человечества*».

Роман «Крестоносцы» по праву считается вершиной творчества Сенкевича. Он переведен более чем на тридцать языков, в том числе практически на все европейские, а также на японский и китайский. Этот ставший классикой роман был экранизирован в 1960 году известным польским режиссером Александром Фордом.

Каждая эпоха вычитывает из романа Сенкевича прежде всего то, что созвучно ей. Нашему времени необходим постулат писателя «*Через отчизну к человечеству*», разве что расширенный сегодняшним опытом – и к каждой отдельной человеческой жизни.

В.А. Хорев

Часть первая

I

В Тынце, в корчме «Свирепый тур», принадлежавшей аббатству¹, сидела за столом кучка народу и слушала бывалого рыцаря, который вернулся из дальних стран и рассказывал теперь о том, в каких переделках довелось ему побывать на войне и в дороге.

Бородатый, плечистый, богатырского роста, в полном расцвете сил, рыцарь, однако, был очень худ; волосы у него были убраны под шитую бисером сетку; на кожаном кафтане отпечатались кольца панциря; за наборным поясом, сплошь из медных блях, торчал нож в роговых ножнах, на боку висел короткий дорожный меч.

Рядом с рыцарем сидел за столом длинноволосый юноша с веселым взглядом, видно, товарищ его или оруженосец, потому что и он был одет по-дорожному, в точно такой же помятый панцирем кожаный кафтан. Кроме них, за столом сидели двое шляхтичей из окрестностей Кракова да трое горожан в алых остроконечных шапках, языки которых свешивались набок до самых локтей.

Хозяин корчмы, немец, в светло-желтом колпаке с зубчиками по нижнему краю, наливал гостям из жбана в глиняные кружки сыченное пиво и с любопытством прислушивался к рассказу о военных подвигах.

С еще большим любопытством слушали рыцаря горожане. В те времена ненависть, которая при Локотке разделяла горожан и рыцарство², стала уже угасать, и горожанин не гнул так спину перед паном, как в позднейшие века. Пан еще ценил его готовность *ad concessionem rescuŋiarum*³, и в корчмах нередко случалось видеть, как купцы запросто бражничали с шляхтой. На них взирали даже с некоторой благосклонностью, потому что денег у них всегда было побольше и они обычно платили за своих благородных сотрапезников.

Итак, сидели в корчме горожане с шляхтичами и вели беседу с рыцарем, время от времени подмигивая хозяину, чтобы тот наполнил кружки.

– Сколько свету видали вы, благородный рыцарь! – воскликнул один из купцов.

– Да, немногим из тех, что съезжаются сейчас отовсюду в Краков, привелось столько увидеть, – ответил приезжий рыцарь.

– И пропасть же народу туда съедется! – продолжал горожанин. – Великое торжество и великое ликование в королевстве. Толкуют, и, верно, не зря, будто король всю опочивальню королевы повелел покрыть парчой, шитой жемчугами, и ложе убрать таким же балдахином. Игрища и ристалища будут, каких доселе не видывали.

– Кум Гамрот⁴, не перебивайте рыцаря, – заметил другой купец.

– Да я, кум Айертретер, не перебиваю, я только думаю, рыцарю тоже любопытно узнать, что народ толкует, ведь и он, наверно, едет в Краков. Мы нынче все равно не успеем вернуться в город, потому что ворота запрут, а ночью вошь спать не дает, так что успеем наговориться.

– Вам слово, а вы десять. Стареете, кум Гамрот!

¹ В Тынце, в корчме «Свирепый тур», принадлежавшей аббатству... – Тынец – место под Краковом (ныне часть города), где в древние времена было заложено аббатство бенедиктинцев, старейшего из католических монашеских орденов.

² ...ненависть, которая при Локотке разделяла горожан и рыцарство... – Сохранился памятник польско-латинской поэзии XIV в. «Песнь о краковском воите Альберте», где описывается бунт немецкого патрициата в Кракове (1311), не без труда в течение года подавленный князем Владиславом (1260—1333) – польским королем с 1320 г., по прозвищу Локоток, из династии Пястов.

³ платить наличными (*лат.*).

⁴ Тогдашние фамилии, вернее, прозвания. – *Примеч. авт.*

– Ну, штуку мокрого сукна я еще одной рукой подниму.

– Эва! Такого, что, как сито, насквозь светится.

Однако дальнейшие споры прервал странствующий рыцарь.

– Это верно, – сказал он, – что я останусь в Кракове, слышал я про ристалища и охотно попытаю на них свою силу, да и племянник мой тоже, хоть и юн годами и безус, а не одного панцирника поверг уже на землю.

Гости бросили взгляд на юношу, который весело улыбнулся и, заложив за уши длинные волосы, поднес к губам кружку пива.

– Да и захотели бы мы вернуться, – прибавил старый рыцарь, – все равно некуда.

– Это как же так? – спросил один из шляхтичей. – Откуда же вы родом и как вас зовут?

– Меня зовут Мацько из Богданца, а это сын моего родного брата, зовут его Збышко.

Герб наш Тупая Подкова, а клич Грады!

– Где же он, ваш Богданец?

– Эх, сударь, спросите лучше, где он был, потому что нет уж его. Еще во время войны Гжималитов с Наленчами сожгли дотла наш Богданец, так что один только старый дом остался; все, что было, забрали, а слуги наши разбежались. Одна голая земля осталась, мужики, которые жили по соседству, и те ушли дальше в леса. Отстроились мы с братом, отцом этого хлопца, да на другой год вода все снесла. Потом брат умер, и остался я после его смерти один с сиротою. Подумал я тогда: нет, не усидеть мне здесь! А в ту пору народ толковал про войну, шла молва, будто Ясько из Олесницы, которого король Владислав после Миколая из Москожова⁵ послал в Вильно, спешно набирает по всей Польше рыцарей. Отдал я землю в залог достойному аббату, нашему родичу, Янеку из Тульчи, купил на деньги доспехи, коней, снарядился, как положено, в военный поход, посадил на меринка парнишку, которому было в ту пору двенадцать лет, и айда к Яську из Олесницы!

– С подростком?

– Да он в ту пору и подростком-то не был, но крепкий был парнишка. Бывало, в двенадцать лет упрет самострел в землю, прижмет животом да так натянет тетиву рукоятью, что и англичанин – мы их под Вильно видели – лучше не справится.

– Такой был сильный?

– Шлем за мною носил, а как стукнуло ему тринадцать, так и щит стал носить.

– Немало довелось повоевать вам.

– Все из-за Витовта. Сидел князь у крестоносцев, и каждый год делали они набег на Литву под Вильно. Разный народ шел с нами: немцы, французы, англичане – они самые меткие лучники, – чехи, швейцарцы, бургундцы. Рубили они леса, замки по дороге строили, да всю Литву огнем пожгли, мечом посекали, так что весь народ, который живет там, хотел покинуть родную землю и искать другой, хоть на краю света, хоть среди детей Велиала, только бы подальше от немцев.

– Да и мы тут слышали, будто все литвины хотели уйти с детьми и женами, но только не верили этому.

– А я сам все это видел. Эх, эх! Не будь Миколая из Москожова, Яська из Олесницы да, не в похвальбу сказать, нас вот с ним, не было бы уже и Вильно.

– Это мы знаем. Вы замка не сдали.

– Да, не сдали. Вы вот послушайте хорошенько, что я вам скажу, человек я служилый и в войне искусенный. Еще старики говаривали: «неукротимая Литва», – оно и верно! Ловко

⁵ ...после Миколая из Москожова... – Подканцлера, которого в 1389 г. король направил в Вильно, звали Клеменс (ум. в 1408). Ошибка перекочевала в роман, по-видимому, из написанной на латинском языке «Истории Польши» Яна Длугоша (1415—1480), которая использовалась Сенкевичем в качестве одного из источников.

литвины дерутся, но не с рыцарями им в поле силами мериться. Вот когда кони немцев в трясине увязнут или лес дремучий кругом, ну, тогда дело другое.

– Немцы добрые рыцари! – воскликнули горожане.

– Они стеной стоят, плечом к плечу, и так собачьи дети закованы в железную броню, что сквозь забрало одни глаза только и видно. И лавой валят. Ударят, бывало, на них литвины и рассыплются кто куда как песок, а нет, так немцы сомнут их и растопчут. Не одни у крестоносцев немцы, – сколько есть народов на земле, все у них служат. Ну и храбрецы! Пригнется это рыцарь к луке, наставит копьё и перед битвой один ринется на целое войско, как ястреб на стадо.

– Господи! – воскликнул Гамрот. – А которые ж из них лучше всех?

– Это смотря по оружию. Из самострела лучше всех англичанин стреляет, он панцирь стрелой навыйлет пробьет, а в голубя попадет на сто шагов. Чехи страх как секирами рубятся. Что до двуручного меча, так тут немец никому не уступит. Швейцарец железным чеканом легко расколёт шлем; но нет лучше рыцаря, чем из французской земли. Этот бьется и конный и пеший и при том так и сыплет дерзкими словами; только его все равно не поймешь, потому тараторят французы, будто в оловянные миски бьют, а так народ ничего, набожный. Они нам через немцев передавали, будто мы, христиане, защищаем язычников и сарацин, и слово дали доказать это в рыцарском единоборстве. Вот такой Божий суд должен быть между четырьмя ихними и четырьмя нашими рыцарями, а встреча назначена при дворе Вацлава⁶, короля римского и чешского.⁷

Любопытство шляхтичей и купцов было так возбуждено, что они даже шеи вытянули и давай расспрашивать Мацьку из Богданца:

– Кто же там будет из наших? Говорите скорей, не томите!

Мацько поднес ко рту кружку и выпил пива.

– Э, – ответил он, – за наших не бойтесь. Ян из Влощовы будет там, каштелян добжинский, да Миколай из Вашмунтова, да Ясько из Здакова, да Ярош из Чехова – все славные рыцари, отменные храбрецы, им не впервой драться на копьях ли, на мечах ли или на секирах. Будет на что поглядеть и что послушать, потому, как я уже сказал, французу ногой на горло наступи, а он все дерзкие слова говорит. Они всех переговорят, а наши, как Бог свят, всех побьют.

– Честь и слава будет нашим, только бы Господь их благословил, – сказал один из шляхтичей.

– И святой Станислав⁸, – прибавил другой. Затем, повернувшись к Мацьку, он снова стал расспрашивать: – Нуте-ка, расскажите нам обо всем! Вы вот прославляли отвагу немцев и иных рыцарей, говорили про то, как легко они одолели Литву. А разве с вами им не было потрудней? Разве они так же охотно шли и против вас? Даровал ли вам Бог победу? Наше оружие славьте!

Но Мацько из Богданца не был, видно, бахвалом. Он скромно ответил:

– Кто вновь прибывал из дальних стран, те с охотой шли против нас, но только раз-другой, бывало, попробуют и поостынут. Неукротим наш народ, и нас часто укоряли за эту неукротимость. «Смерти, – говорят, – не страшитесь, а сарацинам помогаете, гореть вам за это в геенне огненной!» А мы еще лютей становились, потому ведь неправда все это! Король с королевой крестили Литву, и всяк на Литве поклоняется Иисусу Христу, хоть не всяк и умеет. Известно, что и наш все милостивейший король, когда в Плоцке в кафедральном соборе повергли на

⁶ Исторический факт. – *Примеч. авт.*

⁷ ...при дворе Вацлава, короля римского и чешского... – Вацлав IV (1361—1419) из династии Люксембургов был чешским королем (1378—1419), императором «Священной Римской империи» (1378—1400), вел борьбу против брата, венгерского короля Сигизмунда (1361—1437), в связи с этим иногда поддерживал Польшу.

⁸ ...святой Станислав. – Краковский епископ Станислав из Щепанова (ок. 1030—1079), выступивший против короля Болеслава Смелого (1039—1081) и за это казненный, был канонизирован в 1254 г.

землю идола, повелел ему огарок поставить, и ксендзам пришлось уламывать короля, что не годится так поступать. А что ж говорить о простом человеке! Многие так себе думают: «Повелел князь креститься, я и окрестился, повелел Христу бить поклоны, я и бью, но чего же мне старой нечисти творожку жалеть, не кинуть ей печеной репы, пены не плеснуть с пива? Не сделаешь этого, лошади падут или коровы опаршивеют, молоко станут с кровью давать, а то и урожай пропадет». Многие так делают, потому и попали под подозрение. Да ведь они это все по невежеству, из страха перед нечистью. В старину этой нечисти лучше жилось. У нее были свои леса, свои просторные лесные хаты, верховые кони, да и десятину брали божки. А нынче леса повырублены, есть нечего, по городам в колокола звонят, вот вся нечисть и зарылась в самых дремучих борах да и воет там с тоски. Пойдет литвин в лес, так его там то один, то другой божок за полу кожуха дергает: «Дай!», говорит. Некоторые дают; но есть и такие смельчаки, что не только не хотят давать, но еще и ловят их. Один насыпал в воловий пузырь пареного гороху, так туда тотчас тринадцать божков и залезло. А он заткнул их рябиновым колышком да и понес в Вильно продавать францисканцам; ну, те охотно дали ему двадцать скойцев, лишь бы расточить врагов имени Христова. Я сам этот пузырь видал, еще издали от него шел богомерзкий дух – это все бесстыдная нечисть со страху перед святой водой...

– А кто посчитал, что их там тринадцать было? – живо спросил купец Гамрот.

– Литвин считал: он видел, как они лезли. Да по одному духу можно было узнать, что они там сидят, ну а колышек никому вынимать не хотелось.

– Экое диво какое! – воскликнул один из шляхтичей.

– Да, всякого дива я там насмотрелся. Народ хороший, ничего не скажешь, но только все у них особенное. Лохматые все, разве только какой-нибудь князь у них волосы чешет; едят печеную репу, почитают ее за самое лучшее кушанье, от нее будто храбрости прибавляется. В лесных хатах живут со скотиной вместе да с ужами; в питье и в еде никакой меры не знают. Баб ни в грош ни ставят, зато девушек очень уважают, верят, что владеют те великой силой: стоит будто девке натереть человеку живот сухой черникой – и колик как не бывало!

– Коли девки красавицы, так не жаль, если и живот схватит, – воскликнул кум Айерт-ретер.

– Про то Збышка спросите, – заметил Мацько из Богданца.

Збышко залился таким смехом, что лавка под ним заходила ходуном.

– Есть и красавицы, – сказал он. – Разве Рынгалла⁹ не была красавицей?

– Это что за Рынгалла такая? Прелестница, что ли? Ну же, рассказывай!

– Как, вы не слыхали про Рынгаллу? – спросил Мацько.

– И не слыхивали.

– Да ведь это сестра князя Витовта, жена Генрика, князя мазовецкого.

– Что вы говорите! Какого князя Генрика? Был один мазовецкий князь Генрик¹⁰, плоцкий епископ, но он умер.

– Он самый. Рим должен был разрешить его от обета, но смерть раньше его разрешила; видно, не очень порадовал он Господа Бога своим поведением. Ясько из Олесницы послал меня к князю Витовту с письмом в Риттерсвердер как раз тогда, когда плоцкий епископ князь Генрик приехал туда к князю от короля. На ту пору Витовту воевать уже наскучило, Вильно он все равно не мог взять, ну а нашему королю наскучили родные братья с их распутством. Увидел король, что Витовт побойчее и поумнее их, и послал епископа уговорить князя оставить крестоносцев и покориться ему, за что посулил отдать под его власть Литву. Витовт, охотник до всяких перемен, благосклонно выслушал посла. Начались тут пиры да ристалища. И хоть

⁹ Рынгалла (в крещении Елизавета, ум. в 1433) – историческое лицо, жена молдавского господаря.

¹⁰ Генрик (1366—1398) – епископ плоцкий, младший брат князя Земовита IV (ок. 1352—1426) и Януша (1340—1429), был, в нарушение церковных канонов, женат.

другие епископы этого не одобряют, князь Генрик охотно садился верхом на коня и показывал на ристалищах свою рыцарскую силу. Князья мазовецкие все богатыри, даже девушки из их рода легко ломают подковы. Выбил князь один раз из седла троих рыцарей, в другой раз пятерых, а из наших меня свалил, да у Збышка конь под его натиском прынул и сел на задние ноги. Все награды вручала князю прекрасная Рынгалла, перед которой он в полном вооружении преклонял колени. И так они полюбили друг друга, что на пирах епископа оттаскивали от нее за рукава отцы духовные, которые приехали с ним, а Рынгаллу удерживал брат Витовт. И говорит епископ: «Я, мол, сам разрешу себя от обета, а папа, если не римский, то авиньонский¹¹, подтвердит разрешение, но венчаться я должен незамедлительно, иначе сгорю!» Тяжкий это был грех, но Витовт не хотел противиться, чтобы не оскорбить королевского посла, – и они справили свадьбу. Потом уехал в Сураж, а там в Слуцк, к великому горю Збышка, который, по немецкому обычаю, избрал княгиню Рынгаллу госпожой сердца и дал обет быть верным ей до гроба.

– Все это так, – вдруг прервал его Збышко, – да люди потом стали говорить, будто княгиня Рынгалла, пораздумав, решила, что не пристало ей быть женою епископа, который жениться женился, а снять с себя духовный сан не желает, что не может быть над ними благословения Господня, и отравила мужа. Я как услышал про то, попросил одного благочестивого отшельника под Люблином разрешить меня от обета.

– Что он отшельник, это верно, – смеясь, возразил Мацько, – но вот благочестив ли, не знаю, потому мы в пятницу приехали к нему в лес, а он рубил медвежьи кости да так сосал мозг, что только кадык играл.

– Да, но он говорил, будто мозг – это вовсе не мясо, и сосет он его с особого соизволения, потому как насосется, так во сне ему бывают чудесные видения и на другой день он может пророчествовать до самого полудня.

– Ну-ну! – сказал Мацько. – Прекрасная Рынгалла теперь вдова и может потребовать, чтобы ты служил ей.

– Понапрасну будет стараться, я себе выберу другую госпожу и буду верен ей до гроба, а там и жену себе добуду.

– Ты добудь сперва рыцарский пояс.

– Эва! Да разве после родин не будет ристалищ? А до ристалищ или после них король не одного рыцаря опояшет. А я против всякого выйду на бой. И епископ не победил бы меня, если бы мой конь не сел на задние ноги.

– Найдутся там лучше тебя.

Тут шляхтичи из-под Кракова начали кричать:

– Господи, да ведь перед королевой не такие, как ты, будут выступать, а славнейшие рыцари мира. Состязаться будут Завиша из Гарбова, да Фарурей, да Добко из Олесницы, да Повала из Тачева, да Пашко Злодзей из Бискупиц, да Ясько Нашан, да Абданк из Гуры, да Анджей из Брохотиц, да Кристин из Острова, да Якуб из Кобылян!.. Где тебе мериться с ними силами, ведь против них никто не устоит ни при чешском, ни при венгерском дворе. Что ты болтаешь, будто ты лучше их? Сколько тебе лет?

– Восемнадцатый год, – ответил Збышко.

– Да тебя любой ногтем пришибет.

– Посмотрим.

¹¹ ...*папа, если не римский, то авиньонский*... – Речь идет о «великом расколе» 1378—1417 гг., когда католический клир разделился на две, а потом на три церкви, во главе которых стояли соперничавшие папы. В годы, описанные в «Крестоносцах», в Авиньоне был папа Бенедикт XIII (1394—1423), в Риме – Бонифаций IX (1389—1404), Иннокентий VII (1404—1406), Григорий XII (1406—1415). Собор в Пизе, низложив в 1409 г. двух пап, избрал третьего, но его не признали местные курии. «Троепапие» ликвидировал в 1417 г. Констанцкий собор.

– Слышал я, – сказал тут Мацько, – будто король щедро награждает рыцарей, которые возвращаются с литовской войны. Кто из вас краковский, – скажите, правда ли это?

– Ей-ей, правда! – ответил один из шляхтичей. – Всему свету известна щедрость короля, только пробиться сейчас к нему будет трудно – ведь в Кракове полным-полно гостей, которые съезжаются на родины и крестины, желая воздать честь и хвалу нашему государю. Ждут венгерского короля, приедет, говорят, римский император и всякие князья и правители, да и рыцарей будет тьма, всякий ведь надеется, что не уйдет от короля с пустыми руками. Толкуют, что прибудет сам папа Бонифаций, который тоже ищет милости и помощи у нашего государя против своего авиньонского недруга. Нелегко будет достигнуть к королю в такой толпе, но уж если достигнешь и припадешь к его стопам, то он щедро вознаградит тебя, коли ты этого заслужил.

– Я припаду к стопам короля, потому что заслужил, а случись еще война, опять пойду воевать. Взял я кое-какую добычу, да и князь Витовт меня не забыл, не беден я, но скоро уже состарюсь, а как сил-то убудет, захочется и мне иметь спокойный угол.

– Король не оставил своей милостью тех, кто вернулся из Литвы от Яська из Олесницы, они все сейчас как сыр в масле катаются.

– Вот видите! А я в ту пору не воротился – все еще воевал. Надо вам сказать, что немцам дорого обошелся союз короля и князя Витовта. Князь хитростью захватил заложников, а потом как ударит на немцев! Он разрушил и предал огню замки, перебил рыцарей, истребил пропасть народу. Немцы хотели отомстить вместе с Свидригайлом¹², который бежал к ним. Опять начался великий поход. Сам магистр Конрад¹³ выступил с большой ратью. Немцы осадили Вильно, пытались с высоченных башен пробить тараном стены замков, пытались добыть замки изменой – не удалось! А на обратном пути столько их полегло, что и половина назад не вернулась. Выходили мы в поле и против Ульриха из Юнгингена, брата магистра, самбийского правителя¹⁴. Но Ульрих в страхе бежал со слезами, и с той поры настал мир, и город теперь отстраивается. Один святой монах, который мог босыми ногами ходить по раскаленному железу, пророчествовал, будто теперь Вильно до светопреставления не увидит под своими стенами вооруженного немца. Но если так оно будет, то чьих же рук это дело?

При этих словах Мацько из Богданца вытянул свои руки – широкие, непомерной силы, а прочие, качая головами, стали поддакивать:

– Да, да! Это он верно говорит! Да!

Но тут разговор оборвался из-за шума, долетевшего с улицы в окна, из которых вынули бычьи пузыри, так как ночь спустилась теплая и ясная. Издали донесся звон оружия, человеческие голоса, фыркание коней и песни. Все в корчме удивились, так как время было позднее и луна уже высоко поднялась в небе. Хозяин-немец выбежал во двор корчмы, но не успели еще гости осушить последние кружки, как он еще поспешней вернулся назад и крикнул:

– Едет какой-то двор!

Через минуту в дверях появился слуга в голубом кафтане и алой шапочке. Он остановился на пороге, окинул взглядом присутствующих и, увидев хозяина, сказал:

– Вытрите столы да зажгите огонь: княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых.

¹² *Свидригайло* (в католичестве Болеслав, ок. 1370—1452) – младший из Ольгердовичей. Будучи недоволен сближением Ягайла с Витовтом (см. Предисловие) и передачей последнему власти в Литве, бежал к крестоносцам, признал себя их вассалом и отдал им Жемайтию (см. примеч. к с. 449). Несколько лет воевал с Витовтом, пока не получил в удел Подолию и Северскую землю. После смерти Витовта стал великим князем литовским (1430—1432), вступил в конфликт с польскими феодалами из-за подольских земель и был низложен, боролся за власть, найдя опору в русских землях и принимая помощь ордена, но потерпел неудачу.

¹³ *Магистр Конрад* – великий магистр ордена в 1391—1393 гг. Конрад фон Валленрод. Польский поэт Адам Мицкевич (1798—1855) сделал его героем одноименной поэмы, наделив судьбой и мотивами действий, которые являются плодом художественного вымысла и далеки от реальности.

¹⁴ ...самбийского правителя. – Самбия – часть Пруссии, завоеванная орденом к середине XIII в.

С этими словами он повернулся и вышел вон. В корчме поднялось движение: хозяин стал звать слуг, а гости в изумлении воззрились друг на друга.

– Княгиня Анна Данута, – сказал один из горожан, – это ведь дочь князя Кейстута, жена Януша Мазовецкого. Вот уж две недели как она в Кракове; это она, верно, ездила в Затор¹⁵ в гости к князю Вацлаву, а сейчас возвращается оттуда.

– Кум Гамрот, – сказал другой горожанин, – пойдемте на сеновал, для нас это слишком высокая компания.

– Нет ничего удивительного, что они едут ночью, – заговорил Мацько, – днем такая жара, но чего это они заехали в корчму, ведь монастырь под боком?

Затем он обратился к Збышку:

– Родная сестра прекрасной Рынгаллы, понял?

А Збышко ответил:

– И мазовецких панночек с нею, верно, без счета!

¹⁵ *Затор* – город в Силезии (ныне в Бельском воеводстве), находившийся во владении одной из ветвей местных Пястов.

II

Но тут в корчму вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом; она была одета в красный плащ и узкое зеленое платье с позолоченным поясом, который спускался вдоль бедер и внизу был застегнут большой пряжкой. За княгиней шли придворные панны, одни постарше, другие совсем еще девочки, все в веночках из лилий и роз, многие с лютнями в руках. Некоторые несли целые букеты свежих цветов, нарванных, видно, по дороге. За паннами показались придворные и пажи, и в корчме стало шумно. Все вошли оживленные и веселые, громко разговаривая и напевая, словно в упоении от ясной ночи и яркого сияния луны. Среди придворных были два песенника, один с лютней, другой с гуслими у пояса. Одна из девушек, совсем еще молоденькая, лет двенадцати, тоже несла за княгиней маленькую лютню, набитую медными гвоздиками.

– Слава Иисусу Христу! – сказала княгиня, остановившись посреди корчмы.

– Во веки веков, аминь! – с низким поклоном ответили присутствующие.

– А где хозяин?

Услышав, что его зовут, немец выступил вперед и, по немецкому обычаю, преклонил одно колено.

– Мы остановимся у тебя отдохнуть и подкрепиться, – сказала княгиня. – Поторопись, а то мы голодны.

Горожане успели уже выйти из корчмы, а оба местных шляхтича, Мацько из Богданца и молодой Збышко, поклонились еще раз и хотели было тоже выйти, чтобы не мешать княгине и ее свите, однако Анна Данута остановила их:

– Вы шляхтичи и нам не помешаете! Познакомьтесь с придворными. Откуда Бог несет?

Те стали называть свои имена, гербы, кличи и деревни, из которых они были родом. Услышав от Мацька, откуда он с племянником возвращается, княгиня всплеснула руками.

– Ах, как кстати! – воскликнула она. – Расскажите нам про Вильно, про моего брата и сестру. Приедет ли князь Витовт на родины и крестины?

– Князь хочет приехать, да не знает, сможет ли; потому он и послал с ксендзами и боярами серебряную колыбель в дар королеве. С этой колыбелью приехали и мы с племянником, мы ее охраняли в пути.

– Так колыбель уже здесь? Хотелось бы мне ее посмотреть. Она вся из чистого серебра?

– Вся из чистого серебра, но ее здесь уже нет. Ее повезли в Краков.

– А что же вы делаете в Тынце?

– Мы завернули сюда в монастырь к аббату, нашему родичу, хотим отдать на сохранение святым отцам всю нашу военную добычу и дары князя.

– Это вам Бог послал. Велика ли добыча? Но, скажите, почему брат не уверен, что сможет приехать?

– Он готовит поход на татар.¹⁶

– Я это знаю; одно меня смущает, королева не пророчила счастливого конца этого похода, а все ее пророчества всегда сбываются.

Мацько улыбнулся:

– Эх, благочестива государыня наша, ничего не скажешь, но ведь с князем Витовтом пойдет множество наших рыцарей, отменных храбрецов, против которых никто не устоит.

– А вы не пойдете?

¹⁶ ...поход на татар. – Витовт принял у себя изгнанного золотоордынского хана Тохтамыша (ум. в 1406), разбитого в 1395 г. Тимуром (Тамерланом) (1336—1405) и в 1398 г. ханом Заволжской орды Темир-Кутлуем (Тимур-Кутлуком). Витовт взял Тохтамыша в союзники, чтобы получить через него владичество над всей Русью. На реке Ворскле в 1399 г. они были разбиты главой золотоордынского войска Едигеем (1352—1419).

– Ведь меня послали с другими колыбель охранять, да и пять уж лет, как я не снимал доспехов, – ответил Мацько, показывая на отпечатки панциря на своем лосином кафтане. – Но дайте только отдохнуть, и я опять пойду, а нет, так племянника Збышка отдам пану Спытку из Мельштына¹⁷, который поведет в поход всех наших рыцарей.

Княгиня Данута бросила взгляд на рослую фигуру Збышка, но тут разговор оборвался, так как в корчму вошел монах и, поздоровавшись с княгиней, стал смиренно укорять ее за то, что она не прислала в монастырь гонца с вестью о своем прибытии и остановилась не у них, а в простой корчме, где находит приют даже простой человек, что же говорить о таком почетном госте, как супруга князя, предки и родственники которого оказали монастырю столько благодеяний!

Но княгиня весело ему возразила:

– Мы сюда заехали только размяться, утром нам надо ехать в Краков. Мы выспались днем и ехали ночью по прохладе, петухи уж пели, и я не хотела будить благочестивую братию, да еще с таким народом, который больше думает не об отдыхе, а о песнях да плясках.

Но монах продолжал настаивать на своем.

– Нет. Мы уж здесь останемся. Послушаем светских песен, время и пролетит незаметно, а к утрени придем в костел, чтобы день начать с Богом.

– Служба будет о здравии милостивейшего князя и милостивейшей княгини, – сказал монах.

– Князь, супруг мой, приедет только через четыре-пять дней.

– Господь Бог и издалека ниспошлет ему благоденствие, а пока позвольте нам, смиренным, хоть вина принести вам из монастыря.

– Благодарствуем, – ответила княгиня.

Когда монах вышел, она тотчас крикнула:

– Эй, Дануся! Дануся! Встань-ка на лавку да потешь нашу душеньку той песней, которую ты пела в Заторе.

Придворные мигом поставили лавку посреди корчмы. Песенники сели по краям, а между ними стала та самая девочка, которая несла за княгиней лютню, набитую медными гвоздиками. Косы у нее были распущены по плечам, на голове веночек, платье голубое, башмачки красные с длинными носками. Стоя на лавке, девочка казалась маленьким чудным ребенком, словно фигуркой из костела или рождественского вертепа. Видно, не впервые приходилось ей стоять вот так и петь перед княгиней, потому что она не обнаруживала ни тени смущения.

– Ну же, Дануся, ну же! – кричали придворные панны.

Взяв лютню, девочка подняла голову, как птичка, когда хочет запеть, и, полувзакрыв глаза, затянула серебряным голоском:

Ах, когда б я птишкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!

Песенники тотчас стали вторить ей, один на гусельцах, другой на большой лютне; княгиня, которая ничего так не любила, как светские песни, стала покачивать в такт головой, а девочка снова затянула тоненьким детским голоском, свежим, как у птички, когда весной она поет в лесу свою песенку:

¹⁷ *Спытко* (Спытек) из Мельштына (до 1362—1399) – краковский воевода. Выдвинулся на одно из первых мест среди знати; не принадлежа к княжескому роду, получил от короля в 1387 г. в управление Подолию.

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик,
Люба прилетела».

И снова завторили ей оба песенника. Молодой Збышко из Богданца, который с детских лет привык к войне и ужасным ее картинам, в жизни ничего подобного не видывал; коснувшись плеча стоявшего рядом с ним мазура, он спросил:

– Кто это такая?

– Панночка из свиты княгини. Немало песенников увеселяют наш двор, но эта маленькая певунья всех милей княгине, и ничьих песен она не слушает так жадно, как ее.

– И не диво. Я думал, это ангел, не нагляжусь на нее. Как же ее зовут?

– Да разве вы не слыхали? Дануся. Отец ее Юранд из Спыхова, могущественный и храбрый комес¹⁸, прославленный рыцарь, в бою он выступает впереди хоругви.

– Экая краса невиданная!

– Любят ее все и за песни, и за красу.

– Кто ж ее рыцарь?

– Да она ведь еще совсем дитя.

Дануся снова затянула песенку, и разговор оборвался. Збышко глядел сбоку на ее светлые волосы, на приподнятую головку, на полузакрытые глаза, на всю ее фигурку, залитую огнями восковых свечей и лунным сиянием, лившимся в растворенные окна, – и все больше и больше дивился. Ему казалось, что он уже где-то видел ее, он только не помнил – во сне ли или где-то в Кракове на окне костела.

И, снова тихонько толкнув придворного, он спросил у него, понизив голос:

– Так она из вашего двора?

– Мать Дануси приехала из Литвы с княгиней Анной Данутой, та выдала ее тут за графа Юранда из Спыхова. Красавица она была и знатного рода, княгиня любила ее больше всех своих придворных панн, да и она любила княгиню. Потому и дочку назвала Анной Данутой. Но пять лет назад, когда немцы под Злоторей¹⁹ напали на наш двор, она умерла со страху. Княгиня взяла тогда девочку – и с той поры воспитывает ее. Отец тоже часто наезжает ко двору и радуется, видя, что девочка его здорова и окружена любовью. Но только как ни взглянет он на нее, так всякий раз слезами и обольется, вспомнив свою покойницу, а вернувшись домой, мстит немцам за тяжкую обиду. Так любил он жену, как никто во всей Мазовии своей жены не любил, – и тьму немцев он за нее уже перебил.

У Збышка мгновенно зажглись глаза и жилы вздулись на лбу.

– Так немцы убили ее мать? – спросил он.

– И убили и не убили. Сама она померла со страху. Пять лет назад был мир, никто про войну не думал, все жили спокойно. Без войска, с одной только свитой, как всегда в мирное время, князь поехал в Злоторью строить башню. И тут, не объявляя войны, без всякого повода, вторглись в наш край предатели-немцы. . . Позабыв страх Божий и все благодеяния, оказанные им предками князя, они привязали его к коню и угнали в неволю, а людей поубивали. Долго томился князь в неволе у немцев, только когда король Владислав пригрозил им войною, страх

¹⁸ *Комес* (лат.) – звание, которым в Польше титуловали в XI–XII вв. высших сановников. В XIII в. оно распространилось на знать вообще, встречалось в документах до середины XIV в.

¹⁹ *Злоторья*. – По утверждению Длугоша, в 1394 г. Януш «воздвиг на реке Нареве, на земле и в княжестве своего удела, новую крепость, которую назвал Злоторей», а появившиеся крестоносцы сожгли все укрепления еще не законченного деревянного замка, князя же посадили «на кобылу и, связав ему под брюхом той кобылы ноги», отвезли к «прусскому магистру» (Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.; Л., 1962. С. 34).

объял их, и они отпустили князя. Но во время набега скончалась мать Дануси, со страху подкатило у нее к самому сердцу и так сдавило в горле, что она померла.

– А вы, пан рыцарь, были при этом? Скажите, как вас зовут, а то я позабыл.

– Зовут меня Миколай из Длуголяса, а прозвище мое Обух. Я был во время набега. Видал, как один немец с павлиньими перьями на шлеме хотел привязать мать Дануси к седлу и как она на глазах у него побелела на веревке как полотно. Меня самого алебардой рубанули, вот и шрам остался.

С этими словами он показал глубокий шрам на голове, который тянулся из-под волос до самой брови.

На минуту воцарилось молчание. Збышко снова вперил взор в Данусю.

– Так вы говорите, – спросил он, помедлив, – у нее нет рыцаря?

Однако ответа он не дождался, так как в это мгновение песня оборвалась. Один из песенников, толстый парень, поднялся вдруг с лавки, и она качнулась набок. Дануся, пошатнувшись, взмахнула ручонками, но упасть или соскочить с лавки не успела – Збышко ринулся, как лев, и подхватил ее на руки.

Княгиня в первую минуту вскрикнула от страха, но потом весело рассмеялась.

– Вот и рыцарь Данусе! – воскликнула она. – Подойди, рыцарь молодой, и отдай нам милую нашу певунью!

– Ловко он ее подхватил! – слышались возгласы среди придворных.

Збышко направился к княгине, прижимая к груди Данусю, которая обняла его одной рукой за шею, а другую подняла с лютней вверх, чтобы не раздавить свой инструмент. Все еще испуганное лицо ее озарилось улыбкой. Приблизившись к княгине, юноша опустил перед нею Данусю на пол, а сам преклонил колени и, подняв голову, с удивительной для его лет смелостью сказал:

– Быть по-вашему, милостивейшая княгиня! Пора этой прекрасной панне иметь своего рыцаря, пора и мне иметь свою госпожу, красоту и добродетели которой я бы прославлял, потому, с вашего позволения, я хочу дать обет этой панне и остаться ей верным до гроба.

Удивление изобразилось на лице княгини, однако не речь Збышка поразила ее, а внезапность всего происшедшего. Правда, рыцарские обеты в Польше не были в обычае, но Мазовия, лежавшая на немецком рубеже и часто выдавшая рыцарей даже из дальних стран, знала этот обычай лучше, чем другие польские земли, и часто следовала ему. Княгиня слышала о нем еще при дворе своего великого отца, где все западные обычаи почитались законом и образцом для самых благородных воителей, поэтому в желании Збышка она не нашла ничего оскорбительного ни для себя, ни для Дануси. Она даже обрадовалась, что милая ее сердцу придворная начинает пленять сердца и взоры рыцарей.

– Данусенька, Данусенька, – обратилась она, повеселев, к девочке, – хочешь иметь своего рыцаря?

Дануся сперва три раза подпрыгнула в своих красных башмачках, встряхивая распущенными косами, а затем, обняв руками шею княгини, воскликнула с такой радостью, точно ей посулили забаву, дозволенную только взрослым:

– Хочу! Хочу! Хочу!..

У княгини от смеха слезы выступили на глазах; вместе с ней смеялась вся свита. Высвободившись наконец из объятий девочки, княгиня обратилась к Збышку:

– Ну что ж, давай, давай обет! В чем же ты ей клянешься?

Хотя все кругом смеялись, Збышко хранил непоколебимую серьезность и так же серьезно, не поднимаясь с колен, произнес:

– Клянусь по прибытии в Краков повесить щит на корчме с пергаментом, на котором монах-краснописец четко напишет, что панна Данута самая прекрасная и самая добродетель-

ная из всех девиц, какие только живут во всех королевствах. А кто станет мне в том перечить, с тем клянусь драться до тех пор, пока сам не погибну или он не погибнет, а нет, так сдастся.

– Отлично! Видно, ты знаешь рыцарский обычай. А еще что?

– А еще... От пана Миколая из Длуголяса я узнал, что матушка панны Дануты испустила дух по вине немца с павлиньим гребнем на шлеме, потому я даю обет сорвать с немецких голов несколько таких павлиньих чупрунов и сложить их к ногам моей госпожи.

При этих словах княгиня перестала смеяться и спросила:

– Ты что, не на шутку даешь этот обет?

А Збышко ответил:

– Так, да поможет мне Господь Бог и Крест Святой; свой обет я повторю ксендзу в костеле.

– Похвально сражаться с лютым врагом нашего племени, но мне жаль тебя, ты молод и легко можешь погибнуть.

Но тут приблизился Мацько из Богданца, который, будучи человеком старозаветным, только пожимал плечами, слушая княгиню и Збышка, но сейчас счел уместным вмешаться:

– Не тревожьтесь о том, милостивейшая пани! В битве смерть может настигнуть всякого, а для шляхтича, стар ли он, молод ли, сложить голову в бою – это славная смерть. И не в диковинку война моему хлопцу; хоть и юн он годами, а не раз уж довелось ему биться и конному и пешему, и на копьях и на секирах, и на длинных и на коротких мечах, и со щитом и без щита. Новый это обычай, чтобы рыцарь давал обет девушке, которая пришлась ему по сердцу; но я не стану корить Збышка за то, что он посулил своей госпоже павлиньи чупруны. Лупил он уже немцев, пусть еще их взлупит, а что проломит при том несколько голов, так это только послужит к вящей его славе.

– Да, я вижу, что он не робкого десятка, – сказала княгиня.

Потом она обратилась к Данусе:

– Садись-ка на мое место, ты сегодня у нас первая особа, только не смейся, нехорошо.

Дануса села на место княгини; она хотела казаться серьезной, но голубые глазки ее смеялись коленопреклоненному Збышку, и она не могла удержаться, чтобы от радости не болтать ножками.

– Дай ему перчатки, – сказала княгиня.

Дануса достала перчатки и подала их Збышку, который весьма почтительно принял их из ее рук и, прижав к устам, сказал:

– Я приколю их к шлему, и горе тому, кто осмелится посягнуть на них!

С этими словами он поцеловал Данусе руки и ножки и поднялся с колен. Но тут его оставила прежняя серьезность, сердце юноши преисполнилось великой радостью от того, что отныне весь двор будет почитать его зрелым мужем; потрясая перчатками Дануси, он весело и вместе с тем запальчиво воскликнул:

– Эй, сюда, псы с павлиньими чупрунами! Эй, сюда!

В это мгновение в корчму вошел тот самый монах, который приходил уже раньше, а с ним двое других, постарше. Монастырские служки несли за ними ивовые корзины, наполненные баклагами с вином и собранными на скорую руку лакомствами. Вновь пришедшие монахи, приветствуя княгиню, снова стали упрекать ее за то, что она не заехала в монастырь, а она снова стала объяснять им, что, выспавшись за день, путешествует со своей свитой ночью по холодку, поэтому в отдыхе не нуждается и, не желая будить ни достославного аббата, ни святых монахов, решила остановиться в корчме, чтобы немного размяться.

Обменявшись множеством учтивостей, порешили наконец на том, что после утрени и ранней обедни княгиня со свитой позавтракает и отдохнет в монастыре. Гостеприимные монахи пригласили вместе с мазурами краковских шляхтичей и Мацька из Богданца, который и без того намерен был отправиться в аббатство, чтобы оставить там на хранение военную

добычу и дары щедрого Витовта, предназначенные для выкупа Богданца. Но молодой Збышко не слышал приглашения – он бросился к своим повозкам, стоявшим под охраной слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в более приличном наряде. Сняв с повозки короба, он велел отнести их в людскую и стал там переодеваться. Торопливо причесав волосы, он убрал их под шелковую сетку, шитую янтарем, а спереди настоящим жемчугом. Затем он надел белый шелковый полукафтан, расшитый золотыми грифами, с нарядной оторочкой понизу, поверх кафтана подпоясался двойным золоченым поясом, на котором висел короткий меч с насечкой из серебра и слоновой кости. Все на нем было новое, все сверкало и не носило никаких следов крови, хотя было захвачено в поединке у молодого фризского рыцаря, служившего у крестоносцев. Затем Збышко надел красивые штаны с одной штаниной в продольные зеленые и красные полосы, другой – в фиолетовые и желтые, а наверху – в пеструю шахматную клетку. Надев после этого красные башмаки с длинными носками, красивый и нарядный, он направился в общую комнату.

Когда он остановился в дверях, все просто ахнули. Увидев, какой красавец рыцарь дал обет служить ее Данусе, княгиня еще больше обрадовалась. Дануса в первое мгновение кинулась к Збышку, как серна. Но она не успела добежать до него; красота ли юноши, изумленные ли возгласы придворных остановили ее, только за какой-нибудь шаг от него она замерла, потупив вдруг глазки, и, вся вспыхнув, сжала в смущении ручки и стала перебирать пальчиками. За ней подошли к Збышку другие: сама княгиня, придворные, песенники, монахи; все хотели получше рассмотреть юного рыцаря. Мазовецкие панны глаз с него не сводили, и каждая из них жалела теперь о том, что не она стала его избранницей, старшие дивились пышности его наряда, так что Збышко очутился в кругу любопытных; стоя посредине, он с самодовольной улыбкой чуть-чуть повертывался на месте, чтобы все получше могли его рассмотреть.

– Кто это такой? – спросил один из монахов.

– Рыцарь, племянник вот этого шляхтича, – ответила княгиня, показывая на Мацька, – он только что дал обет служить Данусе.

Монахи этому тоже не удивились, так как подобные обеты ни к чему не обязывали. Рыцари часто давали обет замужним женщинам, а у родовитой знати, знакомой с западным обычаем, почти не было дамы, которая не имела бы своего рыцаря. Если рыцарь давал обет девушке, то он вовсе не становился ее женихом: напротив, она чаще всего выходила замуж за другого, он же, если отличался постоянством, оставался верен ей, но женился тоже на другой.

Несколько больше удивил монахов возраст Дануси, да и то не очень, так как в те времена шестнадцатилетние отроки становились каштелянами. Самой великой королеве Ядвиге в ту пору, когда она прибыла из Венгрии, едва минуло пятнадцать лет, а тринадцатилетние девочки выходили тогда замуж. Впрочем, в эту минуту взоры были обращены не столько на Данусю, сколько на Збышка, и все слушали Мацька, который, гордясь своим племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл столь богатое платье.

– Год и девять недель назад, – рассказывал Мацько, – пригласили нас в гости саксонские рыцари. У них гостил один рыцарь из народа фризского, который живет далеко, у самого моря, а с ним сын, года на три постарше Збышка. Как-то на пиру сын рыцаря стал, глумясь, говорить Збышку, что нет, мол, у него ни усов, ни бороды. Збышко, хлопец горячий, не стал его слушать, схватил за бороду и всю ее ему вырвал, за что мы дрались после на смерть или на неволю.

– Как же это вы дрались? – спросил пан из Длуголяса.

– Отец вступился за сына, я – за Збышка, вот мы и дрались вчетвером при гостях на утопанной земле. Уговор у нас был такой, что победитель заберет и полные повозки, и коней, и слуг побежденного. Бог пришел нам на помощь. Порубили мы фризов, хоть и нелегко далась нам победа над этими сильными и храбрыми рыцарями, и добычу захватили богатую: четыре полные повозки, в каждую по паре мерингов запряжено, да четверку рослых скакунов, да девять человек прислуги, да на двоих отборные доспехи, каких у нас, пожалуй, и не сыщешь. Правда,

мы помяли в бою шлемы, но Господь кой-чем другим нас вознаградил – взяли мы целый кованный сундук дорогого платья; то, что сейчас на Збышке, тоже было в этом сундуке.

Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением поглядывать на дядю и племянника, а пан из Длуголяса, по прозвищу Обух, сказал:

– Я вижу, вы народ решительный и смелый.

– Теперь мы верим, что этот юноша добудет павлиньи чупруны!

А Мацько смеялся, причем в суровом лице его было что-то хищное.

Монастырские служки добыли тем временем из ивовых корзин вина и лакомства, а служанки стали вносить блюда дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей корчме пошел сильный и смачный дух свиного сала. При виде яичницы и колбас гостям захотелось есть, и все двинулись к столам.

Однако никто не садился, прежде чем княгиня не займет свое место; она села посредине, велела Збышку и Данусе занять места рядом напротив нее, а потом сказала Збышку:

– Тебе полагается есть из одной миски с Данусей, только не жми ей под лавкой ноги и не касайся ее колен, как делают другие рыцари, – она для этого еще слишком молода.

Он ответил княгине:

– Если я и стану это делать, милостивейшая пани, то разве только через два-три года, когда Господь позволит мне выполнить обет и когда созреет эта ягодка; что ж до того, чтоб жать ей ножки, то этого я не мог бы сделать, если бы даже захотел, – ведь они у нее не достают до полу.

– Это верно, – сказала княгиня, – приятно, однако, знать, что ты учтив в обхождении.

После этого все занялись едой и воцарилось молчание. Збышко отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот, а она, довольная, что ей прислуживает такой нарядный рыцарь, уплетала колбасу за обе щеки, моргая глазками и улыбаясь то ему, то княгине.

Когда гости опростали блюда, монастырские служки стали разливать сладкое ароматное вино – мужчинам помногу, женщинам – поменьше; но рыцарскую свою учтивость Збышко особенно выказал, когда внесли полные чаши присланных из монастыря орехов. Там были и лесные, и редкие в те времена грецкие орехи, привозимые издалека, на которые гости накинулись с такой жадностью, что по всей корчме слышен был только треск скорлупы на зубах. Однако напрасно было бы думать, что Збышко помнил только о себе, он предпочел показать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержность, нежели, набросившись с жадностью на редкое лакомство, уронить себя в их глазах. Набрав полную горсть лесных или грецких орехов, он не разгрызал их зубами, как делали другие, а раскалывал, сжимая своими железными пальцами, и подавал Данусе очищенные от скорлупы ядра. Он придумал даже забаву для нее: вынув ядро, он подносил руку к губам и дул на скорлупу; под могучим его дыханием скорлупа взлетала под самый потолок, Дануся хохотала до упаду, так что княгиня, опасаясь, как бы девочка не подавилась, велела Збышку прекратить эту забаву; видя, как рада Дануська, княгиня спросила у нее:

– А что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?

– Ах, как хорошо! – ответила девочка.

Она коснулась розовым пальчиком белого шелкового кафтана Збышка и, тут же отдернув руку, спросила:

– А завтра он тоже будет моим?

– И завтра, и в воскресенье, до гроба, – ответил Збышко.

После орехов подали сладкие пироги с изюмом, и ужин затянулся. Одним придворным хотелось поплясать, другим послушать песенников или Данусю; но у Дануси под конец стали слипаться глазки и клониться от дремоты головка; раз-другой она еще взглянула на княгиню,

на Збышка, протерла еще разок кулачком глазки – и, с великим доверием опершись на плечо своего юного рыцаря, тут же уснула.

– Спит? – спросила княгиня. – Вот тебе и «дама».

– Она и во сне мне милей, чем другая в танце, – ответил Збышко, сидя прямо и не двигаясь, чтобы не разбудить девушку.

Однако Данусю не разбудили даже музыка и песни. Одни притопывали ногами в такт музыке, другие вторили ей, гремя мисками, но чем больше был шум, тем крепче она спала, открыв, как рыбка, ротик.

Дануся проснулась только тогда, когда запели петухи, зазвонили колокола в костеле и все поднялись с лавок с возгласами:

– На утреню! На утреню!

– Пойдем пешком во славу Божию, – сказала княгиня.

И, взяв за руку пробудившуюся Данусю, она первая вышла, а за нею высыпала вся свита.

Ночная тьма уже поредела. На востоке светлело небо. Узкая золотая полоска зари, с зеленой каймою сверху и алой внизу, разливалась на глазах. Луна на западе словно отступала перед ней. А заря становилась все алее, все ярче. Мир пробуждался, омытый сильной росой, радостный и отдохнувший.

– Бог дал хорошую погоду, но жара будет страшная, – говорили придворные.

– Не беда! – успокаивал их пан Миколай из Длуголяса. – Выспимся в аббатстве, а в Краков приедем под вечер.

– Пожалуй, опять прямо на пир.

– Там и нынче что ни день гуляют, ну а после родин да ристалищ пир пойдет горой.

– Посмотрим, как себя покажет рыцарь Дануси.

– Э, да ведь они богатыри!.. Слыхали, как они рассказывали про свой поединок с двумя фризами?

– Может, к нашему двору пристанут, вон о чем-то совещаются.

Мацько и Збышко в самом деле держали совет; старик не очень был рад, что все так сложилось; идя позади свиты и нарочно отставая, чтобы потолковать с племянником на свободе, он говорил ему:

– Сказать по правде, никакого проку для тебя я во всем этом не вижу. Уж как-нибудь я пробьюсь к королю, ну хоть с этим двором, может, что-нибудь и заполучим. Очень мне хочется замок небольшой или городок заполучить... Ну да посмотрим. Богданец, само собой, выкупим, потому чем отцы наши владели, тем и мы должны владеть. Но откуда взять мужиков? Аббат поселил там новых, но ведь он их назад возьмет, а без мужика земле грош цена. Вот и смекай, что я тебе скажу: ты там обеты давай кому хочешь, но с паном из Мельштына иди к князю Витовту воевать против татар. Коли затрубят в трубы до родин, не жди, покуда королева родит и начнутся рыцарские ристалища, а выступай в поход, потому там может быть добыча. Ты знаешь, как щедр князь Витовт, а тебя он уже знает. Отличишься, богатые дары от него получишь. А что всего важнее – даст Бог, захватишь уйму невольников. Татар на свете тьматмущая. В случае победы по полсотни, а то и больше на брата придется.

Тут Мацько, алчный до земли и мужиков, размечтался:

– Боже ты мой! Пригнать с полсотни невольников да поселить в Богданце! Расчистили бы кусок пуци. Поднялись бы мы оба. Знай, нигде так не разживешься, как там!

Но Збышко покачал головой:

– Эва! Наторочить конюхов, которые жрут конскую пададь и к земле не привыкли! Какой толк от них в Богданце?.. К тому же я дал обет добыть три немецких гребня. Где я их найду у татар?

– Дал обет по глупости, такая и цена твоему обету.

– А моя рыцарская честь? Как с нею быть?

– А как было с Рынгаллой?
– Рынгалла отравила князя, и отшельник разрешил меня от обета.
– Так тебя в Тынце разрешит аббат. Аббат получше пустынника, тот не на монаха, а больше на разбойника смахивал.

– Да не хочу я.

Мацько остановился и спросил, видно, разгневавшись:

– Что ж будем делать?

– Поезжайте к Витовту сами, я не поеду.

– Ах ты, мальчишка! А кто к королю пойдет на поклон?.. И не жаль тебе моих косточек?

– На ваши косточки дерево свалится, и то не поломают их. Да хоть и жаль было бы вас, все равно я к Витовту не поеду.

– Что же ты будешь делать? Останешься сокольничим или песенником при мазовецком дворе?

– А разве плохо быть сокольничим? Коли вам слушать меня неохота, а поворчать при-спичило, ну что ж, ворчите.

– Ну куда ты поедешь? Что ж тебе, наплевать на Богданец? Ногтями будешь землю ковырять? Без мужиков-то?

– Неправда! Ловко вы это придумали с татарами. Слыхали, что на Руси говорят? Татар, мол, столько найдешь, сколько их полегло в бою, а полонить никого не полонишь, потому в степи татарина никому не догнать. Да и на чем я буду гнаться за ними? Уж не на тех ли тяжелых жеребцах, которых мы захватили у немцев? Как же, догонишь на них! А какую добычу я возьму? Одни паршивые тулупы. То-то богачом вернусь в Богданец, то-то назовут меня коме-сом!

В словах Збышка было много правды, и Мацько умолк; только через минуту он заметил:

– Но тебя наградил бы князь Витовт.

– Это еще как сказать: одному он дает слишком много, а другому ничего.

– Ну тогда говори, куда поедешь?

– К Юранду из Спыхова.

Мацько в гневе передернул пояс на кожаном кафтане и бросил:

– А чтоб ты пропал!

– Послушайте, – спокойно сказал Збышко. – Я говорил с Миколаем из Длуголяса, и он мне рассказал, что Юранд мстит немцам за жену. Я пойду на помощь ему. Ведь вы сами говорили, что мне не в диковинку драться с немцами, что я знаю их повадки и знаю, как одолеть их. Да и там, на границе, я скорее добуду павлиньи чупруны, а вы знаете, что павлиний гребень какой-нибудь кнехт на голове не носит, – выходит, коли Бог поможет добыть гребни, то поможет взять и добычу. Ну а тамошний невольник – это вам не татарин. Такого поселишь в бору, век не пожалеешь.

– Да ты, парень, что, ума решился? Ведь сейчас нет войны, и бог весть когда она будет!

– Ах, дядюшка! Заключили медведи мир с бортниками – и бортей не портят, и меду не едят! Ха-ха! Да неужто вы не знаете, что войска не воюют и король с магистром приложили к пергаменту свои печати, но на границе-то вечные стычки. Угонит кто-нибудь скотину, стадо, так за одну корову жгут целые деревни и осаждают замки. А разве не угоняют в неволю мужиков и девок? А купцов на больших дорогах? Вспомните старые времена, о которых вы сами мне рассказывали. Разве плохо было Наленчу, когда он захватил сорок рыцарей, ехавших к крестоносцам, посадил их в подземелье и не отпускал до тех пор, пока магистр не прислал ему полный воз гривен? Юранд из Спыхова тоже только тем и занят, и дело на границе всегда найдется.

Минуту они шли в молчании. Тем временем совсем рассвело, и яркие лучи солнца осветили скалы, на которых было выстроено аббатство.

– Бог везде может послать счастье, – смягчился наконец Мацько, – помолись, чтобы ниспослал тебе Свое благословение.

– Это верно, все в Его воле!

– И о Богданце подумай, ты ведь не уверишь меня, что хочешь ехать к Юранду из Спыхова не ради этой свиристелки, а ради Богданца.

– Вы мне этого не говорите, не то я рассержусь. Не стану отпираться, гляжу не нагляжусь я на нее, не такой я дал ей обет, как Рынгалле. Случалось ли вам встречать девицу краше ее?

– Что мне до ее красоты! Лучше, как подрастет, женись на ней, коли она дочка могущественного комеса.

Лицо Збышка осветилось юношеской доброй улыбкой.

– И то дело. Не нужна мне ни другая госпожа, ни другая жена! Вот состаритесь вы и зануют ваши старые косточки, так еще понянчите наших с нею детей.

При этих словах улыбнулся и Мацько и ответил, совсем смягчившись:

– Грады! Грады! Пусть же посыплются тогда градом детишки. В старости радость, по смерти спасение подай нам, Иисусе!

III

Княгиня Данута, Мацько и Збышко уже бывали в Тынце, но некоторые придворные видели его впервые. Подняв глаза, они в изумлении смотрели на величественный монастырь, на зубчатые стены, которые тянулись вдоль скал над обрывами, на высокие здания, которые громоздились то по склону горы, то за острогом, отливая золотом в лучах восходящего солнца. При первом же взгляде на эти великолепные стены и сооружения, на эти дома и хозяйственные постройки, на сады, лежавшие у подошвы горы, и на тщательно возделанные поля, которые с высоты открывались взору, можно было сказать, что тут за столетия накоплены неисчислимые богатства, непривычные и удивительные для жителей бедной Мазовии. И в других местах были старинные богатые бенедиктинские аббатства, например, в Любуше на Одре, в Плоцке, в Могильне, что в Великой Польше, но ни одно из них не могло сравниться с тынецким, владения которого были обширней многих удельных княжеств, а доходы могли возбудить зависть даже у тогдашних королей.

Придворные диву давались, иные просто глазам своим не верили, а княгиня, желая скоротать время и поразвлечь своих приближенных пани, попросила одного из монахов рассказать старинную и страшную повесть о Вальгере Прекрасном²⁰, которую ей уже рассказывали, хоть и не очень подробно, в Кракове.

Заслышав об этом, панны тесной стайкой окружили княгиню и медленно направились в гору, в лучах утреннего солнца подобные движущимся цветам.

– Пусть брат Гидульф расскажет о Вальгере, он ему как-то ночью явился, – сказал один из монахов, поглядывая на другого, человека преклонных лет, который, сгорбившись, шел рядом с Миколоае из Длуголяса.

– Неужто вы, святой отче, видели его собственными глазами? – спросила княгиня.

– Видел, – угрюмо ответил монах. – Бывает такая пора, когда, по воле Божьей, он может покидать преисподнюю и показываться миру.

– Когда же это бывает?

Старик бросил взгляд на других монахов и умолк, – существовало поверье, будто дух Вальгера является тогда, когда в монашеском ордене портятся нравы и монахи больше, чем следует, помышляют о земных благах и мирских утех.

Никто из них не хотел в этом признаться, но призрак, по поверью, предвещал также войну или иное бедствие, и брат Гидульф, помолчав с минуту, промолвил:

– Явление его не сулит добра.

– И я не хотела бы увидеть его, – крестясь, сказала княгиня. – Но почему же он в преисподней, если только отомстил за свою тяжкую обиду?

– Да будь он всю жизнь праведником, – сурово возразил монах, – все равно был бы осужден на вечные муки, ибо жил в язычестве и не очистился святым крещением от первородного греха.

Брови княгини мучительно сжались при воспоминании о том, что ее великий отец, которого она любила всей душой, умер тоже язычником и должен вечно гореть в геенне огненной.

– Мы слушаем вас, – сказала она, помолчав.

– Жил-был в языческие времена, – повел свой рассказ брат Гидульф, – могущественный граф, за неописанную красоту прозванный Вальгером Прекрасным. Весь этот край, что глазом его не окинуть, принадлежал графу, а в походы он водил не одно пешее войско, но и по сотне копейщиков, ибо все рыцари на запад до самого Ополя и на восток до Сандомира были его

²⁰ *Повесть о Вальгере Прекрасном* (Вальцеже Удалом) – польская переработка западного сюжета о Вальтере Аквитанском, приведена в «Великопольской хронике» Годзислава Башко (конец XIII в.).

вассалами. Счету не знал он своим стадам, а в Тынце была у него башня, доверху набитая деньгами, как нынче в Мальборке у крестоносцев.

– Знаю, есть у них такая башня, – прервала его княгиня Данута.

– Богатырь он был, – продолжал монах, – дубы вырывал с корнем, и в мире не было красавца, равного ему, и никто не мог сравниться с ним в игре на лютне и в песнях. Случилось ему быть при дворе французского короля, и полюбила его королева Гельгунда; дабы прославить имя Господне, король-отец хотел отдать дочь в монастырь, а она бежала с графом в Тынец, и стали они жить во грехе, ибо ни один ксендз не хотел обвенчать их по христианскому обряду. Жил-был в ту пору в Вислице Вислав Красивый из рода короля Попеля. В отсутствие Вальгера учинял он набеги на тынецкое графство. Вальгер разбил его и увел в Тынец в неволю, невзирая на то что всякая жена, раз увидев Вислава, готова была отречься от отца с матерью и мужа, лишь бы только утолить с ним свою страсть. Так оно случилось и с Гельгундой. Придумала она для Вальгера такие оковы, что хоть богатырь он был и дубы вырывал с корнем, а не мог их разорвать, и отдала мужа Виславу, который увез его в неволю в Вислицу. Но Рынга, сестра Вислава, слышав в подземелье песню Вальгера, вспылала любовью к нему и выпустила из подземелья, и он, порубив мечом Вислава и Гельгунду и бросив их тела на съедение воронам, вернулся сам с Рынгою в Тынец.

– Разве он худо поступил? – спросила княгиня.

Но брат Гидульф ответил:

– Когда бы принял он святое крещение и Тынец отдал бенедиктинцам, может, Бог отпустил бы ему грехи его, но граф этого не сделал, и земля пожрала его.

– Да разве бенедиктинцы уже были в королевстве?

– Не было бенедиктинцев, в королевстве одни язычники жили.

– Как же мог он принять святое крещение или отдать Тынец?

– Не мог – и потому осужден на вечные муки, – важно ответил монах.

– Верно! Правду он говорит! – раздалось несколько голосов.

Тем временем все приблизились к главным воротам обители, где княгиню ждал аббат с целой свитой монахов и шляхтичей. Светских лиц – «экономов», «адвокатов», «прокураторов» и всяких служащих ордена, – в обители всегда бывало немало. Да и шляхтичи, в том числе богатые рыцари, по довольно редко применявшемуся в Польше ленному праву брали в лен необозримые монастырские земли и в качестве «вассалов» охотно пребывали при дворе «сюзерена», где у подножия Престола Господня легко было заполучить дары, льготы и всякие блага часто за небольшую услугу, удачное словцо или просто под веселую руку всемогущего аббата. Многих вассалов привлекли из дальних мест готовящиеся в столице торжества, и те, кто по причине большого съезда не нашел где остановиться в Кракове, устроились в Тынце. По этой причине *abbas centum villarum*²¹ встретил княгиню со свитой еще более многочисленной, чем обычно.

Это был мужчина высокого роста, с сухощавым умным лицом и выбритой макушкой, окруженной венчиком седеющих волос. На лбу у аббата виднелся шрам от раны, полученной, видно, в молодости, когда он был еще рыцарем, пронзительные глаза надменно смотрели из-под черных бровей. Как и прочие монахи, аббат был одет в рясу, но поверх нее наброшена была черная, подбитая пурпуром мантия, а на шее висел на золотой цепи золотой же, осыпанный драгоценными камнями крест – знак достоинства аббата. Вся осанка изобличала в нем человека, привыкшего повелевать, надменного и самоуверенного.

Памятуя, однако, что супруг княгини происходил из того же рода князей мазовецких, что и короли Владислав и Казимир, а по женской линии и ныне царствующая королева, повелительница одного из величайших государств в мире, аббат почтительно, даже с некоторым

²¹ аббат ста деревень (лат.).

подобострастием приветствовал княгиню. Переступив порог врат обители, он низко склонил голову и, благословив Анну Дануту и всех ее придворных маленьким золотым ковчежцем, который держал в правой руке, сказал:

– Приветствую тебя, милостивейшая госпожа, в смиренной нашей обители. Да ниспшлют тебе здравие и благоденствие святой Бенедикт из Нурсии, святой Маурус, святой Бонифаций, святой Бенедикт из Аниана и Иоанн из Фтоломеи²², покровители наши, вкушающие вечное блаженство, и да благословят тебя семь раз на дню во все дни живота твоего!

– Они не могут не внять мольбе столь славного аббата, разве только если глухи, – учтиво сказала княгиня, – тем более что мы прибыли сюда к обедне и предадим вся своя и себя в руки их.

С этими словами княгиня протянула аббату руку, которую тот, преклонив по придворному обычаю колено, поцеловал как рыцарь; затем они вместе проследовали во врата обители. Их, видно, уже ждали с обедней, в ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики; трубачи в дверях костела затрубили в честь княгини в громкие трубы, литаврщики ударили в огромные литавры, кованные из красной меди и обтянутые кожей, рождающей громозвучное эхо. На княгиню, которая родилась в языческом краю, всякий костел все еще производил сильное впечатление, а тынецкий в особенности, ибо немного было костелов, равных ему по великолепию. Тьма наполняла глубину святыни, лишь у главного престола трепетали огни светильников, мешаясь с блеском свечей, озарявших позолоту и статуи святых. Вышел священник в облачении, поклонился княгине и начал литургию. Благовонный фимиам кадил тотчас заструился густыми, мягкими волнами, окутал священника и престол и, плавно уносясь ввысь, придал храму еще большую торжественность и таинственность. Анна Данута откинула голову и, воздев руки, стала жарко молиться. Но когда раздались звуки редкого еще в ту пору органа, то потрясая своды храма величественным рокотом, то наполняя его ангельскими голосами, то разливаясь как бы в соловьиной песне, княгиня подняла очи горе, на лице ее, вместе с благоговением и страхом, изобразилось бесконечное блаженство, – и могло показаться, что это святая в чудном видении озирает разверстое небо.

Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая, как и все другие люди в те времена, в повседневной жизни запросто поминала имя Господне, но в доме Божиим с детским трепетом и смирением устремляла взор к таинственному и предвечному Вседержителю.

Так же усердно, хотя и с меньшим трепетом, молился весь двор. Збышко опустилсся к мазурами на колени позади седалищ ксендзов – к алтарю прошли только придворные панны с княгиней – и передавал себя в руки Господа. Время от времени он бросал взгляд на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела около княгини, и думал о том, что стоило, разумеется, стать рыцарем такой девушки, но что и обет он дал ей нешуточный. Сейчас, когда хмель выветрило из него, он призадумался, как выполнить свой обет. Войны не было. Правда, в стычке на границе легко было наткнуться на вооруженного немца и убить врага или самому сложить голову. Об этом Збышко и говорил Мацьку. «Так-то оно так, – думал он, – но ведь не всякий немец носит павлиний или страусовый чуб на шлеме». Из гостей крестоносцев разве только графы, а из самих крестоносцев разве только комтур, да и то не всякий. Если войны не будет, годы пройдут, покуда он добудет три гребня; тут он вспомнил еще, что, не будучи посвящен в рыцари, может вызывать на поединок только непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из рук короля на ристалищах, которые должны были состояться на крестинах, он ведь давно его заслужил, – ну а что же дальше? Он поедет к Юранду из Спыхова, будет помогать

²² ...святой Бенедикт из Нурсии, святой Маурус, святой Бонифаций, святой Бенедикт из Аниана и Иоанн из Фтоломеи... – Бенедикт Нурсийский (480—543) – реформатор западноевропейского монашества, основатель монастыря Монтекассино (близ Неаполя) и ордена бенедиктинцев. Далее перечислены другие чтимые этим орденом святые.

ему, перебьет сколько сможет кнехтов – и конец. Кнехты крестоносцев – это не рыцари с павлиньими перьями на головах.

Видя, что без особой на то милости Божией он не много может сделать, Збышко в смятении и тревоге начал молиться:

«Подай, Господи, войну с крестоносцами и немцами, недругами нашего королевства и всех народов, кои на нашем языке хвалят имя Твое святое. Нас благослови, а их сотри с лица земли, ибо не Тебе, но царю тьмы они служат и злобу против нас таят в своем сердце, особенно за то, что король наш с королевой крестили Литву и возбраняют им сечь мечом рабов Твоих. Покарай их за злобу сию.

А я, грешный раб Твой Збышко, каюсь перед Тобою и, взывая к пяти ранам Твоим, молю Тебя: ниспошли мне поскорее троих знатных немцев с павлиньими чубами на шлемах и, по милости Твоей, помоги убить их насмерть. Ибо оные чубы обещал я панне Дануте, дочери Юранда и рабе Твоей, и поклялся в том рыцарской честью.

Ото всего, что найдется еще при убитых, я отдам десятину святой Церкви, дар принесю и Тебе, Иисусе сладчайший, и хвалу воздав Тебе, Господи, дабы ведал Ты, что не напрасно, но от чистого сердца дал я обет сей. Истинно так, Господи Иисусе, помоги же мне, аминь!»

По мере того как Збышко молился с благоговением, он так умилился сердцем, что дал новый обет: после выкупа Богданца пожертвовать на церковь весь воск, который за год дадут пчелы в бортях. Он надеялся, что дядя Мацько не станет этому противиться, а Иисус Христос будет особенно рад свечному воску и, чтобы получить скорее жертву, тотчас ему поможет. Эта мысль показалась Збышку такой удачной, что душа его преисполнилась радостью: теперь он был почти уверен, что Господь услышит его молитву и что в самом непродолжительном времени вспыхнет война, а если и не вспыхнет, так он и без войны как-нибудь добьется своего. Он ощутил в руках и ногах такую великую силу, что в эту минуту готов был один ударить на целую хоруговь. Он подумал даже, что раз уж дал обеты Богу, так и Данусе можно прибавить парочку немцев. Юношеский пыл толкал его на этот шаг; однако победило на этот раз благоразумие. Збышко побоялся излишними желаниями испытывать терпение Господа.

Однако он еще больше укрепился в своих надеждах, когда после обедни и продолжительного отдыха, на который удалился весь двор, послушал за завтраком разговор аббата с Анной Данутой.

В те времена супруги князей и королей по причине своей набожности, да и потому, что магистры ордена щедрой рукой раздавали им дары, оказывали крестоносцам всяческое расположение. Даже благочестивая Ядвига, пока была жива, удерживала занесенную над ними длань своего могущественного супруга. Одна только Анна Данута ненавидела их лютой ненавистью за тяжкие обиды, причиненные ими ее семье. Когда аббат спросил, как обстоят дела в Мазовии, она стала горько жаловаться на орден:

– Как могут обстоять дела в княжестве, когда у него такие соседи? Словно бы и мир: шлют один другому посольства и письма, и все-таки нельзя быть спокойным за завтрашний день. Ложась вечером спать, никто на границе не знает, не проснется ли он в оковах, или с острием меча на горле, или с пылающей кровлей над головой. От предательства не спасут ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Случилось же так под Золоторыей, когда во время самого полного мира крестоносцы захватили и увели в неволю князя. Они говорили, будто этот замок может быть опасным для них. Но ведь замки строят не для нападения, а для обороны, и какой же князь не имеет права сооружать или перестраивать их на своей земле? Не примириться с орденом ни слабому, ни сильному, потому что слабого он презирает, а сильного стремится одолеть. За добро он платит злом. Разве есть в мире орден, который в других королевствах был бы осыпан такими милостями, как крестоносцы у польских князей, а чем отблагодарили они за это? Ненавистью, набегам, войною и вероломством. И тщетны все пени, тщетны все жалобы самому престолу апостольскому, ибо, закоснев в упорстве и гордыне, они не внемлют

даже папе римскому. И теперь вот они прислали посольство на родины и крестины, но лишь для того, чтобы отвратить от себя гнев могущественного короля за все то, что они учинили в Литве. Сердца же их полны умыслом стереть с лица земли королевство и все польское племя.

Аббат внимательно слушал, покачивая головой, а затем сказал:

– Мы знаем, что во главе посольства в Краков приехал комтур Лихтенштейн, брат ордена, коего весьма почитают за славный род, храбрость и ум. Вы, милостивейшая пани, может, скоро его увидите, ибо вчера комтур прислал мне весть, что он посетит Тынец, желая поклониться нашим святыням.

Услышав об этом, княгиня снова стала жаловаться:

– Толкует народ, – и так оно, верно, и есть, – что быть скоро великой войне. Воевать будут Королевство Польское и все народы, которые говорят на языке, похожем на польский, с немцами и орденом. Предсказала будто войну какая-то святая...

– Бригитта²³, – прервал княгиню ученый аббат. – Восемь лет назад ее причислили к лику святых. Святой Петр из Альвастра и Матвей из Линкепинга записали ее пророчества, в которых и впрямь предсказана великая война.

Збышко при этих словах затрепетал от радости и, не в силах удержаться, спросил:

– А скоро ли будет эта война?

Но аббат, занятый разговором с княгиней, не расслышал его, а может, притворился, что не слышит.

– Радуются и у нас этой войне молодые рыцари, – продолжала меж тем княгиня, – но те, кто постарше и порассудительней, вот что говорят: «Не немцев, говорят, мы страшимся, хоть велика их гордыня и сила, не копий их и мечей, но страшимся мы, говорят, святынь крестоносцев, ибо все силы людские ничто противу них».

Анна Данута со страхом взглянула на аббата и прибавила, понизив голос:

– Сдается, есть у них подлинное древо Креста Господня; как же воевать с ними?

– Прислал им его французский король, – подтвердил аббат.

На минуту воцарилось молчание, затем заговорил Миколай из Длуголяса, по прозвищу Обух, человек бывалый, искушенный опытом.

– Был я в неволе у крестоносцев, – сказал он, – и случалось мне видеть процессии с этой великой святыней. Но, кроме нее, есть у крестоносцев, в монастыре в Оливе, множество других первейших святынь, без коих ордену не достичь бы такого могущества.

Тут бенедиктинцы, вытянув от любопытства шеи, стали спрашивать у него:

– Скажите же, что это за святыни?

– Есть у них край ризы Пресвятой Девы Марии, – ответил пан из Длуголяса, – коренной зуб Марии Магдалины и головешки неопалимой купины, из коей сам Бог Отец явился Моисею, есть рука святого Либерия, а что до костей прочих святых, так их на пальцах рук и ног не сочтешь...

– Как же воевать с крестоносцами? – со вздохом повторила княгиня.

Аббат наморщил высокий лоб и после минутного раздумья сказал:

– Трудно с ними воевать уже по одному тому, что они монахи и носят крест на плащах; но ежели они погрязли во грехах, то и святыням может показаться мерзостным пребывание среди них, и тогда они не только не придадут крепости ордену, но отнимут ее у него, дабы перейти в более благочестивые руки. Да хранит Господь Бог кровь христианскую, но коли уж начнется великая война, то и у нас в королевстве найдутся святыни, кои на войне нашими станут заступниками. Недаром вещает глас в пророчестве святой Бригитты: «Я поставил их,

²³ *Бригитта* (1303—1373) – шведская принцесса, основательница женского монашеского ордена. Была причислена к лику святых в 1391 г. Тут роль сыграли хлопоты враждовавшей с Тевтонским орденом Маргариты (1353—1412) – королевы Дании, Норвегии (с 1387) и Швеции (с 1389). До нас дошли фрагменты польского перевода «Откровений святой Бригитты», сделанного, согласно одному из предположений, в конце XIV в.

яко тружениц пчел, утвердил на рубеже земли христианской; но они восстали против меня. Ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим и, лишая его святых тайн, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он, коснея в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охromeют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

– Дай Бог! – воскликнул Збышко.

Слушая слова пророчества, прочие рыцари и монахи также ободрились, аббат же обратился к княгине:

– Посему уповайте на Господа Бога, милостивейшая пани, ибо не ваши, но скорее их дни сочтены, а пока с чистым сердцем примите сей ковчежец, в коем хранится палец ноги святого Птоломея, одного из покровителей наших.

Протянув трепещущие от счастья руки и преклонив колена, княгиня приняла ковчежец и прижала его к устам. Радость ее разделяли придворные, ибо никто не сомневался, что от такого дара снизойдет благодать на всех, а может, и на целое княжество. Збышко тоже был счастлив, ему казалось, что война должна вспыхнуть тотчас после краковских торжеств.

IV

Было уже далеко за полдень, когда княгиня со своей свитой выехала из гостеприимного Тынца в Краков. Рыцари в те времена, направляясь в гости к знатной особе, при въезде в большой город или замок надевали часто бранные доспехи. Правда, искони так повелось, что, проехав ворота, рыцарь должен был тотчас снять доспехи, причем в замке сам хозяин, по обычаю, говорил гостю: «Снимите доспехи, благородный рыцарь, ибо вы прибыли к друзьям». Все же въезд в полном боевом снаряжении почитался более пышным и возвышал рыцаря в глазах окружающих. Ради этой пышности и Мацько со Збышком надели добытые у фризских рыцарей великолепные панцири и наплечники, блестящие, сверкающие, протканые по краям золотом. Миколай из Длуголяса, который и свету повидал на своем веку, и на рыцарей насмотрелся, да к тому же был весьма искушен в военном деле, тотчас признал работу славнейших в мире миланских бронников; выковать себе такую броню могли лишь самые богатые рыцари, и стоила она целого состояния. Он заключил отсюда, что фризские рыцари принадлежали у себя, видно, к знати, и с тем большим уважением стал глядеть на Мацька и Збышка. Одни только шлемы у них, хоть и неплохие, все же не были такими богатыми, зато рослые кони, покрытые красивыми попонами, возбудили у придворных удивление и зависть. Сидя в непомерно высоких седлах, Мацько и Збышко с высоты взирали на весь двор. Они держали в руке по длинному копыю, на боку у них висел меч, у седла торчала секира. Правда, щиты они удобства ради оставили на повозках, но и без щитов у обоих был такой вид, точно они не в город ехали, а выступали в бой. Оба они держались неподалеку от коляски, в которой на заднем сиденье ехали княгиня с Данусей, а на переднем – почтенная придворная дама Офка, вдова Кристина из Яжомбова, и старый Миколай из Длуголяса. Дануса с большим любопытством глядела на закованных в латы рыцарей, а княгиня то и дело вынимала из-за пазухи ковчежец с реликвией и подносила его к устам.

– Страх как любопытно взглянуть на косточку там, в середине, – произнесла наконец она, – но сама я не открою ковчежец, чтобы не оскорбить святого. Пусть откроет епископ в Кракове.

– Э, лучше уж не выпускать его из рук, – заметил осторожный Миколай из Длуголяса, – уж очень это соблазнительная штука.

– Может, вы и правы, – после короткого раздумья сказала княгиня, а затем прибавила: – Давно никто не доставлял мне такой радости, как достойный аббат, и своим подарком, и тем, что рассеял мой страх перед святынями крестоносцев.

– Мудрые и справедливые речи он говорил, – сказал Мацько из Богданца. – Были и под Вильно всякие святыни у крестоносцев, уж очень они хотели убедить чужих, что воюют с язычниками. И что же? Увидели наши, что ежели поплевать в кулак да рубануть сплеча секирой, так и шлем и голова пополам. Грех сказать, святые помогают, но только тем, кто с именем Божиим идет на бой за правое дело. Так вот я и думаю, милостивейшая пани, что случись великая война, то, хоть все немцы станут крестоносцам на помощь, мы разобьем их наголову, потому народ наш велик, да и силы в костях Иисус Христос даровал нам побольше. Что ж до святынь, то разве в Свентокшижском монастыре нет у нас древа Креста Господня?

– Правда, истинная правда, – сказала княгиня. – Но у нас оно хранится в монастыре, а они свое в случае надобности возят с собой.

– Все едино! Нет пределов для Всемогущего.

– Так ли это, скажите? – спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Длуголяса.

– Любой епископ это подтвердит, – ответил тот. – До Рима тоже далеко, а ведь папа миром правит. Что же говорить о Боге?

Эти слова окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его красоту. Мазуры дивились не только богатству монастыря, но и богатству и красоте всего края, по которому они сейчас проезжали. Кругом раскинулись большие зажиточные села с густыми садами; они опоясались липовыми рощами; на липах виднелись гнезда аистов, а пониже – борти под соломенными стрешками. По обе стороны большой дороги тянулись нивы. Ветер клонил по временам еще зеленое море хлебов, в котором, как звезды в небе, мелькали светло-синие васильки и красные маки. Далеко за полями темнел кое-где хвойный лес, веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, травянистые сырые луга, где над болотцами кружили чибисы; а там снова холмы, облепленные хатами, снова поля; видно, жило тут много народу, любившего трудиться на земле, – и весь край, насколько хватает глаз, казался землею обетованной, обителью спокойствия и счастья.

– Это земли короля Казимира, – сказала княгиня. – Жить бы тут и не умирать.

– И Христос такой земле улыбается, – заметил Миколай из Длуголяса, – и благословение Божие почит над нею; да и как же может быть иначе, коли тут, когда ударят в колокола, не найдешь уголка, куда бы не донесся звон! Известно, что злые духи этого не терпят и бегут в глухие боры к самой венгерской границе.

– Вот мне и удивительно, – вмешалась в разговор пани Офка, вдова Кристина из Яжомбова, – как это Вальгер Прекрасный, о котором рассказывали монахи, может являться в Тынце, где семь раз на дню звонят в колокола.

Миколай на минуту смешался и только после некоторого раздумья сказал:

– Неисповедим промысл Божий, это первое, ну а потом примите во внимание, что Вальгер всякий раз получает на то особое соизволение.

– По мне, все едино, только я все-таки рада, что мы не ночуем в монастыре. Да я бы, верно, умерла со страху, явись мне вдруг из преисподней этот великан.

– Ну, это еще как сказать. Говорят, будто он писанный красавец.

– Да будь он хоть раскрасавец, не хочу я его поцелуя – у него ведь рот серой пышет.

– А откуда вы знаете, что ему тотчас захотелось бы вас поцеловать?

При этих словах княгиня, а за нею пан Миколай и оба рыцаря из Богданца разразились смехом. Их примеру последовала и Дануся, хоть и не знала толком, чему они смеются. Тогда Офка, повернувшись лицом к Миколаю из Длуголяса, в гневе сказала:

– Да уж, по мне, лучше он, чем вы.

– Эй, не выкликайте волка из лесу, – весело ответил мазур, – ведь он, дьявол, часто шатается по большой дороге между Краковом и Тынцем, особенно к ночи; а ну как услышит вас да явится в образе великана!

– Сгинь, сгинь, сатана! – воскликнула Офка.

В эту минуту Мацько из Богданца, который, сидя верхом на рослом коне, видел дальше, чем княгиня и ее спутники, сидевшие в карете, натянул поводья и сказал:

– Господи Боже мой, да что же это такое?

– Что там?

– Из-за холма навстречу нам выезжает какой-то великан.

– Свят, свят, с нами крестная сила! – воскликнула княгиня. – Не болтайте попусту бог весть что!

Но Збышко приподнялся на стременах и сказал:

– Клянусь всеми святыми, это великан. Не иначе как Вальгер!

При этих словах возница в страхе осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, начал креститься, так как он уже заметил со своих козел впереди, на ближайшем холме, гигантскую фигуру всадника.

Княгиня привстала было, но тотчас села, переменявшись от испуга в лице; Дануся спрятала голову в складках ее платья. Придворные и песенники, которые ехали верхом за княгиней,

услышав зловещее имя, сбились толпой вокруг ее кареты. Мужчины еще как будто смеялись, хотя в глазах их светилась тревога, но дамы побледнели; только Миколай из Длуголяса, который и на коне бывал, и под конем бывал, по-прежнему хранил безмятежное выражение; желая успокоить княгиню, он сказал:

– Не бойтесь, милостивейшая пани. Ведь солнце еще не село, а хоть бы и ночь уже наступила, святой Птоломей справится с Вальгером.

Тем временем незнакомый всадник, поднявшись на косогор, осадил коня и замер на месте. Он был ясно виден в лучах заходящего солнца и казался действительно великаном. Расстояние между ним и свитой княгини составляло не более трехсот шагов.

– Отчего же он стоит? – спросил один из песенников.

– Оттого, что и мы стоим, – ответил Мацько.

– Он смотрит так, точно хочет кого-нибудь выбрать из нас, – заметил другой песенник. – Знал бы я, что это не злой дух, а человек, подъехал бы да хватил его лютней по голове.

Женщины совсем перепугались и начали громко молиться. Збышко, желая похвастаться перед княгиней и Данусей своею отвагой, сказал:

– А я поеду. Что мне Вальгер!

Дануся закричала со слезами:

– Збышко! Збышко!

Но он тронул коня и погнал его вперед, уверенный, что, даже встретив подлинного Вальгера, пронзит его насквозь копьем. А Мацько, у которого были острые глаза, сказал:

– Он кажется великаном оттого, что стоит на холме. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек, и только. Эва! Поеду и я, а то как бы у Збышка не дошло с ним до ссоры.

Тем временем Збышко, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копье или подъехать поближе и поглядеть сперва, что же это за человек стоит на холме. Он решил сперва поглядеть и тотчас убедился, что поступил правильно, так как по мере приближения незнакомец на глазах у него становился все меньше и меньше. Высоченный детина, он сидел верхом на коне, еще более рослом, чем жеребец под Збышком, но был не выше человеческого роста. К тому же он был без доспехов, в бархатной шапке колоколом и в белом полотняном плаще, предохраняющем от пыли, из-под которого выглядывал зеленый кафтан. Всадник стоял на холме и, подняв голову, молился. Видно, и коня он остановил для того, чтобы кончить вечернюю молитву.

«Хорош Вальгер, нечего сказать!» – подумал юноша.

Он подъехал уже так близко, что мог бы достать незнакомца копьем; но тот, увидев рыцаря в великолепных доспехах, благожелательно улыбнулся и сказал:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков!

– А что там, под горой, не княгиня ли мазовецкая со свитой?

– Она самая.

– Так это вы едете из Тынца?

Однако ответа не последовало, потому что Збышко в это самое мгновение был так ошеломлен, что даже не расслышал вопроса. С минуту времени он стоял окаменелый, не веря собственным глазам, – в какой-нибудь сотне шагов от незнакомца он увидел десятка полтора всадников с рыцарем во главе, который ехал впереди их, закованный в блестящие латы, в белом суконном плаще с черным крестом и в стальном шлеме с пышным павлиньим чубом на гребне.

– Крестоносец! – прошептал Збышко.

При виде крестоносца Збышко подумал, что это Бог, услышав его молитву, посылает ему в своем милосердии того самого немца, о котором он просил в Тынце, что надо воспользоваться милостью Божией; не колеблясь поэтому ни единой минуты, не успев даже додумать до конца все эти мысли и прийти в себя от изумления, он пригнулся в седле, вытянул на высоте

в пол конского уха копьё и, издав родовой клич: «Грады! Грады!» – понёсся во весь опор на крестоносца.

Тот тоже изумился, придержал коня и, не хватаясь за копьё, которое торчало у его ноги, воззрился на всадника, как бы недоумевая, неужели тот и в самом деле хочет напасть на него.

– Наставляй копьё! – кричал Збышко, вонзая в бока коню железные концы стремян. – Грады! Грады!

Расстояние между Збышком и крестоносцем стало уменьшаться. Видя, что всадник и впрямь мчится на него, крестоносец вздыбил коня и схватился за оружие; казалось, копьё Збышка вот-вот разлетится от удара в грудь рыцаря; но вдруг чья-то рука переломила его, как сухую тростинку, у самой руки Збышка, затем та же рука с такой страшной силой натянула поводья его коня, что тот всеми четырьмя копытами врылся в землю и стал как вкопанный.

– Что ты делаешь, безумец? – раздался густой грозный голос. – Ты покушаешься на жизнь посла, ты оскорбляешь короля!

Збышко взглянул на незнакомца и узнал в нем того самого великана, которого приняла за Вальгера свита княгини и испугались все ее придворные дамы.

– Пусти меня на немца! Кто ты такой? – воскликнул Збышко, хватаясь за рукоять секиры.

– Убери секиру! Ради всего святого! Убери секиру, говорю тебе, не то я сброшу тебя с коня! – еще более грозно закричал незнакомец. – Ты оскорбил его величество короля и будешь предан суду.

Затем, повернувшись к всадникам, сопровождавшим крестоносца, он крикнул:

– Ко мне!

Но тут подоспел Мацько, лицо которого выражало тревогу и гнев. Он тоже прекрасно понимал, что Збышко совершил безрассудный поступок, который может иметь для него дурные последствия; однако готов был вступить в бой. Незнакомого рыцаря и крестоносца сопровождало не более полутора десятков всадников, вооруженных копьями или самострелами, так что двое рыцарей, закованных в броню, могли сразиться с ними не без надежды на победу. К тому же Мацько подумал, что если уж в будущем им грозит суд, то, может, лучше уйти от него, прорвавшись сквозь кучку всадников, и укрыться потом где-нибудь, пока не пронесет тучу. Лицо у него перекошилось, он стал похож на волка, готового укусить, и, втиснувшись на коне между Збышком и незнакомцем, спросил, хватаясь за меч:

– Кто такой? По какому праву?

– По такому праву, – возразил незнакомец, – что король велел мне следить за безопасностью этих мест, а зовут меня Повала из Тачева.

Взглянув на рыцаря, Мацько и Збышко тут же вложили в ножны свои наполовину вынутые мечи и опустили головы. Не страх их объял, нет, – они склонили головы перед славным и хорошо известным именем Повалы из Тачева, родовитого шляхтича и могущественного вельможи, владевшего обширными землями под Радомом, и в то же время одного из самых славных рыцарей королевства. Певцы воспевали его в песнях как образец отваги и чести, прославляя его имя наравне с именами Завиши из Габрова и Фарурея, Скарбека из Гуры и Добка из Олесицы, Яська Нашана, Миколая из Москожова и Зындрама из Машковиц. К тому же он в эту минуту представлял до некоторой степени особу короля, и напасть на него было равносильно тому, что положить голову на плаху.

Опомнившись, Мацько с почтительностью в голосе сказал:

– Честь и хвала вам, пан рыцарь, вашей отваге и славе.

– Хвала и вам, пан рыцарь, – ответил Повала, – хоть я и предпочитал бы познакомиться с вами не при таких тяжелых обстоятельствах.

– Это почему же тяжелых? – спросил Мацько.

Но Повала обратился к Збышку:

– Что же ты, молодец, натворил? На большой дороге, под боком у короля, учинил нападение на посла! Да знаешь ли ты, что ждет тебя за это?

– Он напал на посла по молодости и по глупости, – возразил Мацько, – больно прыток, думать не любит. Но вы не станете судить его сурово, когда я расскажу вам его дело.

– Не я его буду судить. Мое дело только заковать его...

– Как заковать? – окинув всех мрачным взглядом, спросил Мацько.

– По повелению короля.

После этих слов воцарилось молчание.

– Он шляхтич, – произнес наконец Мацько.

– Тогда пусть поклянется рыцарской честью, что явится на суд.

– Клянусь честью! – воскликнул Збышко.

– Хорошо. Как вас зовут?

Мацько назвал свое имя и герб.

– Если вы из свиты Анны Дануты, то просите ее ходатайствовать за вас перед королем.

– Нет, мы не придворные. Мы едем из Литвы от князя Витовта. И уж лучше бы нам не встречаться ни с каким двором! От этой встречи беда стряслась над хлопцем.

И Мацько стал рассказывать обо всем, что случилось в корчме, – и о том, как они встретились с двором княгини, и о том, как Збышко дал свой обет. Тут старик внезапно так разгневался на племянника, по легкомыслию которого они попали в столь тяжкую беду, что, повернувшись к нему, воскликнул:

– Лучше б тебе под Вильно погибнуть! О чем только ты думал, щенок?

– Да ведь я, – ответил Збышко, – давши обет, помолился Иисусу, чтобы он послал мне немцев, и дары ему пообещал. Ну, как завидел я павлиньи перья да плащ с черным крестом, тотчас голос услышал в душе: «Бей немца, это чудо!» Вот я и бросился на него, – да и кто бы не бросился?

– Послушайте, – прервал Збышка Повала. – Я не желаю вам зла, ибо ясно вижу, что юноша провинился не столько по злобе, сколько по легкомыслию, свойственному его возрасту. Я бы рад ничего не видеть и ехать дальше, будто вовсе ничего не случилось. Но только сделать это я могу, если комтур пообещает, что не пожалуется королю. Попросите его об этом: может, и ему жаль станет хлопца.

– Лучше под суд идти, чем кланяться крестоносцу! – воскликнул Збышко. – Недостойно это моей шляхетской чести.

Повала из Тычева сурово посмотрел на него и сказал:

– Нехорошо ты поступаешь. Старшие лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Меня народ тоже знает, и все-таки, скажу тебе, я не постыдился бы за такое дело просить прощения.

Збышко смешался, но, оглядевшись кругом, сказал:

– Земля тут ровная, вот бы только немного утоптать ее. Чем просить у немца прощения, лучше мне сразиться с ним конному или пешему, на смерть или на неволю.

– Глупец! – прервал его Мацько. – Как ты можешь сразиться с послом? Ни тебе с ним, ни ему с таким молокососом драться нельзя. – И он обратился к Повале: – Простите, благородный рыцарь. Мальчишка за войну совсем от рук отбился, и пусть уж он лучше с немцем не разговаривает, а то еще нанесет ему новое оскорбление. Я с ним буду говорить, я его буду просить, а если после окончания посольства комтур захочет вступить на ристалище в единоборство, то и я сражусь с ним.

– Это рыцарь знатного рода и со всяким не станет драться, – возразил Повала.

– Как так? Что же, я не ношу пояса и шпор? Со мною и князь может выйти на поединок.

– Это верно, но вы ему этого не говорите, разве только если он сам об этом заговорит, а то я боюсь, как бы он на вас не разгневался. Ну, да поможет вам Господь Бог.

– Пойду за тебя отдуваться, – сказал Мацько Збышку. – Ну, погоди же ты у меня!

И он подъехал к крестоносцу, который остановился в нескольких шагах от них и, сидя неподвижно, словно чугунный монумент, на своем рослом, как верблюд, коне, с величайшим равнодушием слушал весь разговор. За долгие годы войны Мацько научился кое-как изъясняться по-немецки и стал теперь на родном языке комтура рассказывать ему обо всем происшедшем, ссылаясь на молодость и горячность своего племянника, которому почудилось, будто это сам Бог прислал ему рыцаря с павлиньим чубом; старик наконец попросил крестоносца извинить Збышка.

Лицо комтура даже не дрогнуло. Прямой и неподвижный, он, подняв голову, с таким равнодушием и вместе с тем презрением смотрел на Мацька стальными глазами, точно перед ним был не рыцарь и даже не человек, а заборный столб. Владелец Богданца заметил это и хотя оставался по-прежнему вежливым, но в душе, видно, стал возмущаться; он говорил все более принужденно, и загорелые щеки его покрылись румянцем. Было видно, что, столкнувшись с такой холодной надменностью, он с трудом сдерживается, чтобы не заскрежетать зубами и не разразиться негодованием. Это не ускользнуло от внимания Повалы, и, будучи человеком доброго сердца, рыцарь решил прийти Мацьку на помощь. В молодости, когда он тоже искал рыцарских приключений при венгерском, австрийском, бургундском и чешском дворах и имя его прославилось по свету, Повала научился немецкому языку и сейчас обратился к Мацьку на этом языке тоном примирительным и вместе с тем шутивым:

– Видите, пан рыцарь, благородный комтур полагает, что все это дело пустое и слов не стоит тратить. Не в одном нашем королевстве, везде отроки безрассудны, но рыцарь, да еще такой, не станет воевать с детьми с мечом в руках или преследовать их по закону.

Лихтенштейн при этих словах встопорщил свои рыжеватые усы и, не проронив ни слова, тронул коня и поехал вперед, минуя Мацька и Збышка.

От слепой ярости у них волос стал дыбом под шлемами и рука рванулась к мечу.

– Погоди же, тевтонский пес, – процедил сквозь зубы старший рыцарь из Богданца, – уж теперь-то я найду тебя, только бы ты перестал быть послом.

Но Повала, который тоже кипел уже гневом, сказал:

– Это потом. А сейчас пусть за вас заступится княгиня, иначе быть беде.

Он поехал за крестоносцем, остановил его, некоторое время они с жаром о чем-то говорили. Мацько и Збышко заметили, что немецкий рыцарь не взирал на Повалу с такой надменностью, как на них, и еще больше разгневались. Через минуту Повала вернулся и, подождав, пока крестоносец отъедет подальше, сказал им:

– Я просил за вас, но это не человек, а камень. Он говорит, что только тогда не станет жаловаться, когда вы сделаете все, чего он пожелает...

– Чего же он желает?

– Он мне сказал: «Я задержусь, чтобы приветствовать княгиню мазовецкую, а они, говорит, пусть подъедут, пусть спешатся, пусть снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, пусть попросят прощения, тогда я и дам им ответ».

Тут Повала бросил быстрый взгляд на Збышка и прибавил:

– Тяжело это шляхтичам... я понимаю, но должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, кто знает, что ждет тебя: быть может, меч палача.

Лица у Мацька и Збышка стали каменные. Снова воцарилось молчание.

– Ну так как же? – спросил Повала.

Со спокойствием и с такой суровостью, точно за одну минуту он стал старше на двадцать лет, Збышко ответил:

– Что ж! Все мы под Богом ходим.

– То есть как?

– Да так, что будь я о двух головах и руби мне палач обе головы – все равно честь у меня одна, и не годится мне позорить ее.

При этих словах Повала посуровел и, обратившись к Мацьку, спросил у него:

– А вы что скажете?

– Я скажу, – мрачно ответил Мацько, – что с малых лет воспитывал хлопча... На нем наш род стоит, потому что я уже стар, но он не может этого сделать, пусть даже ему суждено погибнуть.

При этом суровое лицо Мацька дрогнуло, и сердце его наполнилось внезапно такой любовью к племяннику, что он обнял его своими закованными в броню руками и воскликнул:

– Збышко! Збышко!

Молодой рыцарь даже удивился и, сжав в объятиях дядю, сказал:

– А я и не знал, что вы так меня любите!..

– Я вижу, вы настоящие рыцари, – сказал растроганный Повала, – и раз хлопец поклялся мне честью, что явится на суд, я не стану надевать на него цепи: таким людям, как вы, можно верить. Вы не отчаивайтесь. Немец в Тынце денек погуляет, так что я увижу короля раньше и доложу обо всем этом деле так, чтобы он не очень разгневался. Счастье, что я успел переломить копье, великое счастье!

Но Збышко возразил ему:

– Уж коли не миновать мне платиться головой, то хоть было бы утешение, что я кости поломал крестоносцу.

– Свою честь ты умеешь защищать, а того не можешь понять, что навлек бы позор на весь наш народ! – нетерпеливо возразил Повала.

– Понимать-то я понимаю, – ответил Збышко, – потому-то мне и жаль...

Тогда Повала обратился к Мацьку:

– Знаете, пан рыцарь, коли удастся вашему хлопцу как-нибудь отвертеться от суда, придется вам колпачок ему на голову надеть, как ловчему соколу. Иначе не умереть ему собственной смертью.

– Ему бы и удалось отвертеться, кабы вы, пан рыцарь, пожелали скрыть все от короля.

– А что же мне с немцем делать? Ведь рот-то ему не заткнешь!

– Верно! Верно!..

Ведя такой разговор, они повернули назад к свите княгини. Слуги Повалы, которые раньше ехали с людьми Лихтенштейна, следовали теперь за ними. Издали было видно, как среди мазурских шапок покачиваются на ветру павлиньи перья крестоносца и сверкает на солнце его шлем.

– Удивительный народ эти крестоносцы, – как будто в раздумье сказал рыцарь из Тачева. – Когда крестоносцу круто приходится, он жалостлив, как францисканец, смирен, как ягненок, и сладок, как мед, – лучше его на свете не сыщешь. Но стоит ему только увидеть, что сила на его стороне, никто не станет так пыжиться, как он, и ни у кого ты не встретишь меньше жалости. Видно, Господь не сердце дал им, а камень. Насмотрелся я всякого люда и не раз видел, как падает слабого настоящий рыцарь, говоря себе: «Не прибудет мне чести от того, что я побью лежачего». А крестоносец тут-то и свирепеет. Держи его за шиворот и не пускай, иначе горе тебе! Вот и этот посол хочет, чтобы вы и прощенья у него попросили, и сраму натерпелись. И я рад, что не бывать этому.

– Не бывать! – воскликнул Збышко.

– Смотрите, как бы он не заметил, что вы удручены, а то обрадуется.

Тут они подъехали к княжеской свите и присоединились к ней. Посол крестоносцев, увидев их, сразу принял надменный и презрительный вид, но они будто и не замечали его. Збышко поехал рядом с Данусей и весело заговорил с нею о том, что с холма уже ясно виден Краков, а

Мацько стал рассказывать одному из песенников о необычайной силе пана из Тачева, который, как сухой стебель, переломил в руке Збышка копье.

– Зачем же он его переломил? – спросил песенник.

– Да хлопец напал на крестоносца, но только так, смеха ради.

Песеннику, который был шляхтичем, человеком бывалым, такая шутка показалась не очень благопристойной, но, видя, что Мацько говорит о ней с легкостью, он тоже не придал ей особого значения. Между тем немцу такое поведение пришлось не по нутру. Он поглядел раз-другой на Збышка, затем перевел взгляд на Мацьку и понял наконец, что они и не думают спешиваться и умышленно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сверкнули стальным блеском, и он тут же стал прощаться...

Когда он тронул коня, рыцарь из Тачева не удержался и сказал ему на прощанье:

– Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Край наш спокойный, и никто на вас не нападет, разве какой-нибудь шутник-мальчишка...

– Хоть и удивительные у вас обычаи, но я не защиты искал у вас, а хотел побыть в вашем обществе, – отрезал Лихтенштейн. – Впрочем, надеюсь, что мы еще встретимся и при здешнем дворе, и в другом месте...

В последних словах прозвучала как будто скрытая угроза, поэтому Повала сурово бросил:

– Даст Бог...

Тут он поклонился, отвернулся и, пожав плечами, сказал вполголоса, но так, чтобы услышали те, кто стоял поближе к нему:

– Мозгляк! Поддел бы тебя копьем да поднял в воздух, чтоб ты ногами поболтал у меня, покуда я «Отче наш» трижды прочту!

И он заговорил с княгиней, с которой был хорошо знаком. Анна Данута спросила, что он здесь делает, он доложил ей, что, по велению короля, ездит по дорогам, чтобы поддержать порядок в округе, где в связи с наплывом гостей, съезжающихся отовсюду в Краков, легко может произойти какая-нибудь стычка. В доказательство этого Повала рассказал о случае, свидетелем которого он оказался. Подумав, однако, что просить княгиню заступиться за Збышка можно попозже, когда в этом будет нужда, и не желая портить общее веселье, он в своем рассказе не придал происшествию большого значения. Княгиня даже посмеялась над Збышком, которому так не терпелось добыть павлиньи чубы, другие же, узнав о том, что пан из Тачева одной рукой переломил копье, дивились его силе.

Рыцарь, будучи человеком немного тщеславным, в душе радовался, что его хвалят, и сам стал рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя, особенно в Бургундии, при дворе Филиппа Смелого. Как-то на турнире, когда у него переломилось копье, он обхватил руками одного арденнского рыцаря, вытащил его из седла и подбросил вверх на высоту копья, хотя арденец весь был закован в броню. Филипп Смелый²⁴ подарил ему за это золотую цепь, а королева – бархатный башмачок, который он с той поры носил на шлеме.

Услышав об этом, все пришли в изумление, только Миколай из Длуголяса сказал:

– Обабились мы, нет уж нынче таких богатырей, как в моей молодости или в те времена, о каких рассказывал мой отец. Случится нынче шляхтичу кольчугу разодрать, самострел натянуть без рукояти или железный тесак пальцами скрутить, и уж он почитает себя богатырем и кичится своею силой. А в старину это девушки делали.

– Оно конечно, ничего не скажешь, в старину народ был покрепче, – ответил Повала, – но и сейчас богатыри найдутся. Мне Господь немалую силу дал в костях, и все-таки я не почитаю себя самым сильным человеком в королевстве. Видали ли вы, ваша милость, когда-нибудь Завишу из Грабова? Этот меня одолел бы.

– Видал. Плечи у него широкие, как тот брус, на котором висит краковский колокол.

²⁴ Филипп Смелый (1342—1404) – бургундский герцог с 1363 г.

– А Добко из Олесницы²⁵? Однажды на турнире, который крестоносцы устроили в Торуне, он положил двенадцать рыцарей, к чести и славе своей и народа нашего.

– Ну, пан Повала, наш мазур Сташек Цёлек²⁶ посильнее был и вас, и Завиши, и Добка. Рассказывали, будто, зажав в кулаке свежую ветвь, он выжимал из нее сок.²⁷

– Сок и я выжму! – воскликнул Збышко.

Не успели его попросить об этом, как он подскочил к обочине дороги и, сорвав с дерева большую ветвь, с такой силой сжал ее на глазах у княгини и Дануси, что на дорогу в самом деле стал капать сок.

– Господи! – вскричала тут Офка из Яжомбкова. – Не ходи ты на войну, а то жалко будет, коли такой хлопец да пропадет до женитьбы...

– Да, жалко будет! – помрачнев вдруг, повторил Мацько.

Только Миколай из Длуголяса да княгиня засмеялись. Прочие же во весь голос превозносили силу Збышка, ибо в те времена железный кулак ценился превыше всего. Придворные панны кричали Дануське: «Радуйся!» – и она радовалась, хоть не понимала толком, какая ей может быть корысть от зажатого в кулаке сучка. Совершенно позабыв о крестоносце, Збышко посматривал на всех с таким превосходством, что Миколай из Длуголяса, желая отрезвить его, сказал:

– Зря ты силой своей похваляешься, есть и покрепче тебя. Я не видел, но отец мой был очевидцем куда более замечательного события, которое произошло при дворе императора римского Карла²⁸. Поехал к нему в гости наш король Казимир с большой свитой, и был в этой свите славный силач Сташко Цёлек, сын воеводы Анджея. И стал как-то похваляться император, что есть у него чех, который может облапить и тут же задавить медведя. Наш король очень был озабочен, как бы не пришлось ему уехать с позором. «Мой Цёлек, – сказал он, – не даст себя посрамить». Порешили через три дня устроить единоборство. Понаехало знатных дам и рыцарей, и через три дня во дворе замка схватились чех с Цёлеком; только не долго они поборолись, потому не успели схватиться, как Цёлек сокрушил чеху хребет, переломал ему ребра и к великой славе короля только мертвым выпустил из рук²⁹. Прозванный с той поры Сокрушителем, он однажды один поднял на колокольню большой колокол, который двадцать горожан не могли сдвинуть с места.

– Сколько же ему было лет? – спросил Збышко.

– Молодой был!

Тем временем Повала из Тачева, который ехал по правую сторону от княгини, наклонился наконец к ней и шепотом сказал ей всю правду про то, какой тяжелый произошел случай, и тут же попросил поддержать его, когда он попытается вступить за Збышка, который может тяжело поплатиться за свой поступок. Княгиня, которой полюбился Збышко, услышав эту весть, опечалилась и очень встревожилась.

– Краковский епископ всегда рад меня видеть, – сказал Повала, – может, мне удастся упротить его, да и королеву тоже, однако чем больше будет заступников, тем лучше для хлопча...

²⁵ Добко (Добеслав) из Олесницы (ум. в 1440 г.). – Длугош сообщает, что на турнире, устроенном в Торуне в честь польского короля, он обращал на себя «взоры всех зрителей силой духа и тела», «сев на коня по королевскому приказанию, настолько превзошел своих противников, что вынудил всех их покинуть поле» и «даже в третьем часу ночи только он один оставался на виду на арене, хотя против него несколько раз выступали, сменяя один другого, новые и новые придворные рыцари магистра Пруссии» (Длугош Я. Там же. С.40). Эпизод этот историк, однако, датирует 1404 г.

²⁶ Сташек (Станислав) Цёлек (до 1383—1437) – сын мазовецкого воеводы Анджея, учился в 1392—1402 гг. в Пражском университете, позднее стал подканцлером и епископом, писал стихи на латинском языке.

²⁷ Исторический факт. – Примеч. авт.

²⁸ Карл – Карл IV Люксембургский (1316—1378) – чешский король с 1346 г., император «Священной Римской империи» с 1347 г. Отец Вацлава и Сигизмунда (см. примеч. к с. 24).

²⁹ Исторический факт. – Примеч. авт.

– Если только королева за него заступится, волос не упадет с его головы, – сказала Анна Данута, – король весьма чтит ее и за благочестие, и за приданое, особенно ж теперь, когда с нее смыто пятно бесплодия. Да! В Кракове сейчас любимая сестра короля, княгиня Александра, – обратитесь к ней. Я тоже сделаю все, что могу, но она родная сестра королю, а я двоюродная.

– Король и вас любит, милостивейшая пани.

– Ах, не так, – с некоторой грустью возразила княгиня, – мне звеньшко, а ей целая цепочка; мне лиса, а ей соболь. Никого из родных не любит так король, как Александру. Нет того дня, чтоб она ушла от него с пустыми руками...

Беседуя таким образом, они приблизились к Кракову. На большой дороге было оченьлюдно от самого Тынца, теперь же всю ее запрудил народ. Встречались тут шляхтичи в сопровождении слуг – кто в доспехах, а кто в летнем наряде и в соломенной шляпе. Некоторые ехали верхом, другие на повозках с женами и дочерьми, которые хотели посмотреть на давно обещанные ристалища. Кое-где купцы загородили всю дорогу своими телегами; им не дозволялось объезжать Краков, дабы город не остался без пошлины. Купцы везли соль, воск, зерно, рыбу, кожи, пеньку, лес. Из города тянулись телеги, груженные сукнами, бочками пива и всякими городскими товарами. Краков был уже хорошо виден: сады короля, вельмож и горожан, опоясавшие кольцом весь город, за ними стены и башни костелов. Чем ближе, тем оживленнее становилось движение, а у городских ворот в толчее трудно было проехать.

– Вот это город! Верно, другого такого нет на всем свете, – сказал Мацько.

– Вечно тут как на ярмарке, – сказал один из песенников. – Вы давно здесь были?

– Давненько. Вот и дивлюсь, будто в первый раз вижу, потому мы приехали из диких краев.

– Говорят, при короле Ягайле Краков вырос.

Это была правда: со времени вступления на трон великого князя литовского необозримые литовские и русские края были открыты для краковской торговли, население Кракова день ото дня росло, он богател, застраивался и становился одним из крупнейших городов мира...

– У крестоносцев города тоже хороши, – снова сказал толстый песенник.

– Нам бы только туда попасть, – ответил Мацько. – Богатая была бы добыча!

Однако Повала думал совсем о другом, он думал о том, что молодой Збышко, который провинился только по своей безрассудной горячности, идет прямо в пасть волку. Хотя пан из Тачева в дни войны был суров и непреклонен, однако в богатырской груди его билось сердце поистине голубиной кротости, и, лучше всех прочих понимая, что ждет виновного, он проникся к нему состраданием...

– А я все думаю и думаю, – снова обратился он к княгине, – сказать или не сказать обо всем королю. Если крестоносец не пожалуется, то все обойдется, но если он захочет пожаловаться, то, может, лучше сразу все рассказать королю, чтобы он вдруг не разгневался...

– Уж если крестоносец может кого погубить, так непременно погубит, – ответила княгиня. – Я только скажу сперва Збышку, чтобы он присоединился к нашему двору. Может, нашего придворного король покарает не так сурово.

С этими словами она подозвала Збышка, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным не столько ради большей безопасности, сколько ради того, чтобы остаться поближе к Данусе.

Тем временем Повала спросил у Мацька:

– Где вы думаете остановиться?

– На постоялом дворе.

– На постоялых дворах уже давно нет ни одного места.

– Тогда мы заедем к знакомому купцу Амылею, может, он пустит нас на ночлег...

– А я вам вот что скажу: поедете ко мне. Ваш племянник мог бы остановиться с придворными в замке, но лучше уж ему не попадаться под руку королю. Что сделаешь во гневу,

того не сделаешь поостывши. Вы, верно, станете делить свое добро, повозки и слуг, а для этого надобно время. Знаете, вам у меня будет хорошо и безопасно.

Мацька несколько встревожило то, что Повала так печется об их безопасности, тем не менее он от всей души поблагодарил рыцаря, и они въехали в город. При виде чудес, которые открылись их взору, они со Збышком на минуту снова забыли о своих заботах. В Литве и на границе они видали только кое-где замки, а из крупных городов – Вильно. Плохо построенный город этот был предан огню и обращен в груды развалин, погребенных под пеплом; здесь же каменные купеческие дома были подчас великолепнее тамошнего великокняжеского замка. Встречалось, правда, много деревянных домов, но и они поражали высотой стен и кровель с окнами из стеклянных шариков, оправленных в свинец, которые так отражали сияние заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. Однако на улицах, что поближе к рынку, дома чуть не сплошь были из красного кирпича или камня, высокие, с балконами и черными крестами на стенах. Они стояли рядами, как солдаты в строю, одни длинные, другие поуже, всего на девять локтей, но все высокие, со сводчатыми сенями, часто с распятием или с иконой Божьей Матери над воротами. Были улицы, где виднелись два ряда домов, над ними – полоса неба, внизу – дорога, сплошь вымощенная камнем, а по обе стороны, насколько хватает глаз, – склады, склады, богатые, полные самых лучших, порой удивительных, а то и вовсе незнакомых товаров, на которые Мацько, привыкший на непрерывной войне захватывать добычу, смотрел жадными глазами. Однако еще больше поражали Мацька и Збышка общественные здания: костел Девы Марии на рынке, Сукенницы³⁰, ратуша с огромным погребом, где продавалось свидницкое пиво, снова костелы, снова склады сукон, огромный мерцаториум³¹, предназначенный для иноземных купцов, здание, в котором хранились городские весы, цирюльни, бани, медеплавильни, воскотопни, золотоплавильни, сереброплавильни, пивоварни, целые горы бочек около так называемого Шротамта – словом, изобилие и богатство, какие и не снились человеку, непривычному к городу, даже если он был владельцем небольшого «городка».

Повала привел Мацька и Збышка в свой дом на улице Святой Анны, велел отвести им просторную комнату, поручил их попечению своих слуг, а сам отправился в замок, откуда вернулся к ужину уже довольно поздно. С ним пришли приятели, все сели за веселый пир, ели мясо до отвала, вино лилось рекой, один хозяин был что-то невесел. Когда гости разошлись наконец по домам, он сказал Мацьку:

– Говорил я с одним каноником, грамотей он и законник, сказал мне он, что за оскорбление посла грозит смертная казнь. Так что молитесь Богу, чтобы крестоносец не пожаловался...

Хоть оба рыцаря и хватили лишнего на пиру, однако, услышав про это, спать пошли невеселые. Мацько вовсе не мог уснуть и спустя некоторое время окликнул племянника:

– Збышко!

– Что?

– Пораздумал я обо всем и решил, что тебе отрубят голову.

– Вы думаете? – сонным голосом спросил Збышко.

И, повернувшись к стене, заснул сладким сном, утомившись с дороги...

³⁰ ...общественные здания: костел Девы Марии... Сукенницы... – Когда Краков стал столицей объединенного польского государства (1320—1609), были сооружены такие известные памятники старопольского зодчества, как Марицкий костел (XIII—XV вв.), Сукенницы (здание цеха суконщиков, XIV—XVI вв.) и др.

³¹ Торг, гостинный двор (лат.).

V

На другой день оба рыцаря из Богданца пошли с Повалой в кафедральный собор³² к ранней обедне Богу помолиться и поглазеть на двор и гостей, собиравшихся в замке. По дороге Повала встретил множество знакомых, в том числе немало рыцарей, славных и в родном краю, и за границей; молодой Збышко смотрел на них с восторгом, в душе давая клятву сравняться с ними в храбрости и прочих доблестях, если только дело с Лихтенштейном благополучно кончится для него. Один из этих рыцарей, Топорчик, родственник краковского каштеляна, сообщил им новость о возвращении из Рима схоласта Войцеха Ястжембца, который ездил к папе Бонифацию IX с письмом от короля, пригласившего святого отца в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но, не будучи уверен в том, что сможет прибыть лично, уполномочил посла от своего имени быть восприемником младенца, который должен был появиться на свет, и вместе с тем, в доказательство своей особой любви к королевской чете, просил наречь его Бонифацием или Бонифацией.

Говорили также о скором прибытии венгерского короля Сигизмунда, который непременно должен был явиться на торжества. Он всегда приезжал, званый и незваный, в гости, на пиры и ристалища; страстный охотник до них, Сигизмунд всегда выступал в состязаниях, желая прославиться не только как король, но и как певец и один из первых рыцарей. Повала, Завиша из Гарбова, Добко из Олесницы, Нашан и другие столь же славные мужи с улыбкой вспоминали о том, как в последний приезд Сигизмунда король Владислав тайно просил их не очень теснить его на турнире, щадить «венгерского гостя», которого весь свет знал как человека столь суетного, что от неудачи у него на глазах выступали слезы. Но больше всего внимание рыцарей привлекли дела Витовта. Рассказывали чудеса о роскошной колыбели, отлитой из чистого серебра, которую литовские князья и бояре привезли в дар королеве от Витовта и супруги его Анны³³. Как всегда перед службой, народ разбился на кучки и толковал о новостях. Услыхав про колыбель, Мацько в одной из таких кучек стал расписывать этот драгоценный дар, но его засыпали вопросами о великом походе на татар, который замыслил Витовт, и Мацьку пришлось рассказать об этом новом замысле князя. Поход был уже почти готов, многочисленное войско двинулось на Русь; если бы он кончился победой, владычество короля Ягайла распространилось бы чуть не на полмира, до неведомых азиатских пустынь, до границ Персии и берегов Арала. Мацько, который до этого был одним из приближенных Витовта и мог знать его замыслы, умел о них рассказывать так подробно и даже красноречиво, что, прежде чем зазвонили к обедне, вокруг него у ступеней собора собралась толпа любопытных. Речь идет, говорил он, просто о крестовом походе. Хотя Витовт именуется великим князем, однако он правит Литвой по уполномочию Ягайла, он лишь наместник, значит, крестовый поход будет заслугой короля. Сколь же велика будет слава новоокрещенной Литвы и могущественной Польши, когда объединенные войска понесут крест в такие края, где если и поминают имя Спасителя, то лишь для того, чтобы изрыгать хулу, и где не ступала еще нога поляка и литвина! Когда польские и литовские войска снова посадят на трон кипчаков³⁴ изгнанника Тохтамыш, он объявит себя «сыном» короля Владислава и, как обещал, вместе со всей Золотой Ордой поклонится кресту.

Мацька слушали с напряженным вниманием, но многие не знали толком, о чем идет речь, кому Витовт собирается помогать, с кем воевать, поэтому некоторые стали спрашивать:

— Да скажите же толком, с кем война?

³² Кафедральный собор – был построен в Кракове на Вавельском холме в 1320—1361 гг.

³³ ...от Витовта и супруги его Анны. – Витовт был тогда женат на дочери князя Дмитрия Ольгердовича (ум. в 1399 г.) Анне (ум. в 1418 г.).

³⁴ ...на трон кипчаков... – Восточные половцы (кипчаки) после завоевания составили основную часть населения Золотой Орды, ассимилировав монгольских пришельцев и передав им свой язык.

– С кем? С Тимуром Хромым, – ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание. До слуха западных рыцарей часто доходили названия Золотой, Синей, Азовской и прочих орд, но про татарские дела и междоусобные войны они мало что знали. Зато по всей тогдашней Европе не нашлось бы человека, который не слышал бы о грозном Тимуре Хромом, или Тамерлане, чье имя повторяли с не меньшим страхом, чем некогда имя Аттилы. Ведь это был «властитель мира» и «властитель времен», повелитель двадцати семи завоеванных царств, владетель Московской Руси, владетель Сибири и Китая до самой Индии, Багдада, Исфахана, Алеппо, Дамаска, тень которого через аравийские пески падала на Египет, а через Босфор – на Греческое царство, губитель рода человеческого, чудовищный создатель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, неодолимый «властелин душ и тел».

Это он посадил Тохтамыша на трон Золотой и Синей Орды³⁵ и признал его своим «сыном». Но, когда владычество «сына» простерлось от Арала до Крыма и земель у него стало больше, чем их было во всей остальной Европе, он захотел стать независимым владетелем, за что грозный «отец» «одним пальцем» сверг его с трона, и тот, взывая о помощи, бежал к литовскому правителю. Именно его и вознамерился Витовт вновь вернуть на трон, но для этого надо было сперва сразиться с властелином мира Хромцом.

Вот почему имя Хромца произвело сильное впечатление на слушателей, и после минутного молчания один из старейших рыцарей, Войцех из Яглова, сказал:

– Драться с таким врагом дело нешуточное.

– Только вот за что драться? – живо возразил Миколай из Длуголяса. – Что нам из того, будет там, за морями, за долами, править сынами Велиала Тохтамыш или какой-нибудь Кутлук?

– Тохтамыш принял бы христианскую веру, – сказал Мацько.

– То ли принял бы, то ли нет. Разве можно верить собакам, которые не признают Христа?

– Но должно голову сложить во имя Христа, – возразил Повала.

– И во имя рыцарской чести, – прибавил Топорчик, родственник каштеляна. – Найдутся ведь среди нас такие, которые пойдут. У пана Спытка из Мельштына молодая любимая жена, а он уже отправился к Витовту.

– И неудивительно, – вставил Ясько из Нашана. – Пусть на душе у тебя смертный грех, за такую войну наверняка получишь и отпущение грехов, и спасение.

– И вечную славу, – снова подхватил Повала из Тачева. – Коль воевать, так воевать, а что враг силен, так оно и лучше. Тимур покорил весь мир, подчинил себе двадцать семь царств. Честь и хвала была бы нашему народу, если бы мы стерли его с лица земли.

– Отчего ж не стереть? – воскликнул Топорчик. – Да покори он хоть сотню царств, нам все едино; пусть другие его боятся, а мы не станем! Это вы верно говорите! Бросить только клич да собрать тысяч десять добрых копейщиков – и мы весь мир пройдем!

– Да и какому еще народу покорить Хромца, как не нашему?

Так толковали рыцари, а Збышко просто диву давался, как это ему раньше не захотелось двинуться с Витовтом в дикие степи... Будучи в Вильно, он хотел посмотреть на Краков и двор, принять участие в рыцарских ристалищах, а теперь подумал, что здесь его ждут, быть может, бесчестье и суд, а там он в худшем случае умрет смертью храбрых...

Однако столетний Войцех из Яглова, с трясущейся от старости головой, но умудренный годами, словно ушат холодной воды вылил на рыцарей.

– Глупцы вы, – сказал он. – Да разве никто из вас не знает, что королева слышала глас самого Христа, ну а коли Сам Спаситель снизошел к ней, то почему же Духу Святому, лишь

³⁵ Синяя орда – так в русских источниках называли Ак-Орду (Белую Орду), объединение тюркско-монгольских племен (на северо-востоке от Аральского моря и в бассейне Сырдарьи), покоренное в конце XIV в. Тимуром.

третьей ипостаси Святой Троицы, быть к ней менее милостиву? Потому-то она провидит будущее так, будто все перед ней совершается, и вот она говорила...

Оборвав эту свою речь, он потряс головой и сказал, помолчав:

– Позабыл я, что она говорила, погодите, дайте-ка вспомнить.

Он стал припоминать, а рыцари сосредоточенно ждали, ибо все думали, что королева – провидица.

– Ах да! – сказал он наконец. – Вспомнил! Королева говорила, что, если бы все здешние рыцари пошли с князем Витовтом на Хромца, мы сокрушили бы язычество. Однако нам нельзя этого сделать из-за козней христианских владык. Надо стеречь границы и от чехов, и от венгров, и от ордена, никому нельзя доверять. А коли с Витовтом уйдет лишь горсточка поляков, их одолеет Тимур Хромой или его воеводы, которые ведут за собой тьму тем татар...

– Ведь сейчас у нас мир, – сказал Топорчик, – и, сдается, сам орден помогает Витовту. Даже крестоносцы не могут поступить иначе, они хоть для виду должны показать святому отцу, что готовы сражаться с язычниками. При дворе поговаривают, будто Куно Лихтенштейн приехал сюда не только на крестины, но и для переговоров с королем...

– Вот и он! – воскликнул в удивлении Мацько.

– И впрямь он! – сказал, оглянувшись, Повала. – Ей-ей, он самый! Недолго же погостил у аббата, должно быть, на рассвете уж уехал из Тынца.

– Приспичило! – угрюмо сказал Мацько.

В это время Куно Лихтенштейн прошел мимо них. Мацько узнал его по кресту, нашитому на плаще, но крестоносец не узнал ни его, ни Збышка, потому что видел их раньше в шлемах, а из-под шлема, даже при поднятом забрале, видна только нижняя часть лица. Проходя мимо рыцарей, Лихтенштейн кивнул головой Повале из Тачева и Топорчику и стал медленно и величественно подниматься с оруженосцами по ступеням собора.

Тут зазвонили колокола, всполошив стаи галок и голубей, гнездившихся на башнях, и возвестив вместе с тем, что скоро начнется обедня. Несколько встревоженные скорым возвращением Лихтенштейна, Мацько и Збышко вошли вместе с прочим народом в костел. Надо сказать, что больше тревожился старший рыцарь, внимание младшего было всецело поглощено двором. Отродясь не видывал Збышко ничего такого, что могло бы сравниться пышностью с этим костелом и с этим собранием. С двух сторон его окружали знаменитейшие мужи королевства, прославившиеся в совете или в бою. Многие из тех, кто устроил предусмотрительно брак великого князя Литвы с прекрасной и юной королевой Польши, уже умерли, но некоторые были еще живы, и народ взирал на них с необыкновенной почтительностью. Молодой рыцарь не мог налюбоваться осанкой краковского каштеляна Яська из Тенчина, у которого суровость сочеталась с величественностью и благородством; с восхищением смотрел он на умные и исполненные достоинства лица других советников и на здоровые лица рыцарей, у которых волосы, ровно подстриженные над бровями, длинными кудрями ниспадали на плечи. Иные носили на головах сетки, иные поддерживали волосы только повязками. Иноземные гости, послы римского императора, Чехии, Венгрии и Австрии и лица, сопровождавшие их, поражали необыкновенной изысканностью одежд; князья и бояре литовские, невзирая на летний зной, надели пышности ради шубы, подбитые дорогими мехами; князья русские в негнувшихся широких одеждах на фоне церковных стен и позолоты напоминали иконы византийского письма. Но с самым живым любопытством Збышко ждал выхода короля и королевы; он старался протиснуться вперед, к седалищам ксендзов, перед которыми у алтаря виднелись две подушки красного бархата, – король и королева всегда слушали обедню коленопреклоненными. Ждать пришлось недолго: король вышел первым из дверей сакристии³⁶, и, пока он дошел до алтаря, Збышко успел хорошо его рассмотреть. Черные, длинные и спутанные волосы

³⁶ Сакристия – ризница.

короля со лба уже начинали редеть, с боков они были откинута за уши, смуглое лицо было гладко выбрито, нос с горбинкой, острый, у рта пролегли складки, а черные, маленькие, блестящие глазки бегали по сторонам так, словно король, прежде чем дойти до алтаря, хотел пересчитать всех молящихся в храме. Лицо у короля было добродушное, но вместе с тем настороженное, как у человека, который, будучи вознесен судьбою сверх ожидания, должен все время думать о том, отвечают ли его поступки королевскому сану, и опасаться злоречия. Поэтому в лице его и движениях сквозило легкое нетерпение. Нетрудно было догадаться, что в гневе он неукротим и страшен и что всегда остается тем самым князем, который в свое время, когда крестоносцы своими происками вывели его из терпения, крикнул их посланцам: «Вы ко мне с пергаментом, а вот я вас копьем!»

Но сейчас эта природная горячность характера умерялась глубокой и искренней набожностью. В костеле король служил примером благочестия не только для вновь обращенных князей литовских, но и для польских вельмож, издавна славившихся своей набожностью. Часто, отбросив подушку, король для вящего умерщвления плоти стоял, преклонив колена, на голых камнях; воздев руки, он не опускал их до тех пор, пока от усталости они сами не падали вниз. Он отслушивал на дню не менее трех обеден, причем слушал их с жадностью. Открытие чаши и звон колокольчика во время великого выхода всегда наполняли его душу восторгом и упоением, блаженством и трепетом. После окончания обедни он выходил из костела, словно очнувшись ото сна, умиротворенный и кроткий, и придворные уже давно знали, что в это время легче всего сыскать у него милость или испросить дары.

За королем из сакристии вышла Ядвига. Обедня еще не начиналась, но рыцари, стоявшие впереди, увидев королеву, тотчас преклонили колена, невольно воздавая ей честь как святой. Збышко сделал то же самое, ибо во всей толпе молящихся никто не сомневался в том, что видит святую, иконы которой со временем будут украшать церковные алтари. Ядвига вела жизнь столь суровую и подвижническую, особенно в последние годы, что, помимо почестей, воздаваемых ей как королеве, ее стали чтить как святую. В народе и среди знати из уст в уста передавались легенды о чудесах, творимых королевой. Говорили, будто прикосновением руки она исцеляет болящих, будто люди, не владеющие членами, начинают ходить, облачившись в старые одежды королевы. Заслуживающие доверия свидетели утверждали, будто собственными ушами слышали, как однажды Христос вещал ей с престола. Перед нею преклоняли колена иноземные монархи, ее почитал и опасался оскорбить даже гордый орден крестоносцев. Папа Бонифаций IX называл ее благочестивой дочерью и избранницей Церкви. Мир взирает на ее дела и помнит, что, происходя из Анжуйского дома и польских Пястов, будучи дочерью могущественного Людовика, воспитанной при самом блистательном дворе, и, наконец, прекраснейшей девой на земле, она отреклась от счастья, отреклась от первой девической любви и, будучи королевой, вступила в брак с «диким» князем Литвы, дабы вместе с ним склонить к подножию Креста Господня последний языческий народ в Европе. То, что не могли свершить ни немцы, ни могущество ордена, ни крестовые походы, ни море пролитой крови, свершило одно ее слово. Никогда апостольский венец не осенял столь юного и прекрасного чела, никогда апостольство не сочеталось с таким самоотречением, никогда женская красота не озарялась такой ангельской добротой и такой тихой печалью.

Менестрели воспевали ее при всех дворцах Европы; в Краков съезжались рыцари из самых отдаленных стран, чтобы увидеть польскую королеву; как зеницу ока берег ее и любил собственный народ, чье могущество и славу она приумножила брачным союзом с Ягайлом. Одна лишь великая печаль омрачала ее и народ: долгие годы Бог не давал своей избраннице потомства.

Но когда наконец миновало и это несчастье, радостная весть о ниспосланном благословении с быстротой молнии разнеслась от Балтийского до Черного моря и до Карпат и наполнила весельем сердца всех народов великой державы. Даже при иноземных дворах везде, кроме

столицы крестоносцев, весть об этом приняли с радостью. В Риме пели «Te Deum». В землях польских народ окончательно утвердился в мысли, что стоит «Святой Владычице» о чем-нибудь попросить Бога – и молитва ее непременно будет услышана.

Люди приходили к ней просить помолиться за их здоровье, посланцы земель и уездов приходили к ней просить помолиться то о ниспослании дождя, то хорошей погоды во время жатвы, то удачного покоса, то хорошего сбора меда, то изобилия рыбы в озерах и дичи в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков и городков, которые, по обычаю, перенятому от немцев, занимались разбоем или междоусобной войной, при одном ее слове вкладывали в ножны мечи, отпускали без выкупа пленников, возвращали угнанные стада и протягивали друг другу руку в знак мира. Все убогие, все нищие толпились у ворот краковского замка. Чистая душа ее проникала в тайники человеческих сердец, смягчала участь невольников, гордость вельмож, суровость судей и возносилась над всей страной, как провозвестница счастья, как ангел справедливости и мира.

Все с сердечным трепетом ждали благословенного дня.

Рыцари внимательно посматривали на стан королевы, чтобы заключить, долго ли еще остается им ждать будущего наследника или наследницу престола. Архиепископ краковский Выш, который был в то же время самым опытным в стране лекарем, прославившимся и за границей, не обещал еще скорого разрешения от бремени, и если уже делались приготовления к празднествам, то лишь потому, что, по обычаям тех времен, празднества начинались загодя и тянулись целыми неделями. Хотя стан королевы несколько округлился, однако все еще сохранял прежнюю стройность. Одежды она носила крайне простые. Воспитанная когда-то при пышном дворе, самая красивая из всех тогдашних княжон и принцесс, она любила дорогие материи, ожерелья, жемчуга, золотые браслеты и перстни, но теперь вот уже несколько лет не только носила монашеские одежды, но и закрывала лицо, дабы от вида собственной красоты не обуяла ее мирская гордыня. Тщетно Ягайло, с восторгом узнав о том, что королева тяжела, просил ее украсить ложе парчою, виссоном, камнями. Она ответила, что, давно отрекшись от пышности и памятуя, что час разрешения часто бывает смертным часом, не среди драгоценных камней, но в тихом смирении должна принять милость, ниспосылаемую ей Богом.

Золото и драгоценности шли тем временем на Академию³⁷ или на посылку новоокрещенных литовских юношей в иноземные университеты.

С той поры как надежда на материнство обратилась в уверенность, королева лишь в одном согласилась изменить свой монашеский облик – она перестала закрывать лицо, справедливо полагая, что отныне не приличествуют ей покаянные одежды...

Взоры всех с любовью устремились теперь на прекрасное лицо, которому не нужны были для украшения золото и самоцветы. Подняв очи горе, держа в одной руке молитвенник, а в другой четки, королева медленно шла от дверей сакристии к алтарю. Збышко увидел лилейный ее лик, лазоревые очи, поистине ангельские черты, исполненные спокойствия, доброты и милосердия, и сердце молотом забило у него в груди. Он знал, что, по велению Божию, должен любить своего короля и свою королеву, и любил их по-своему, но сейчас он внезапно вспыхнул к ним той великой любовью, которая загорается в сердце, не повинаясь велению, но вспыхивает сама, как пламя, сочетаясь с величайшим преклонением, и смирением, и жаждою жертвы. Збышко был молод и горяч, и сейчас его охватила жажда доказать королю и королеве всю свою рыцарскую любовь и преданность, совершить подвиг ради этой любви, куда-то помчаться, кого-то изрубить, что-то захватить и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витовтом, – говорил он сам с собою, – как еще я могу послужить Святой Владычице,

³⁷ Золото и драгоценности шли... на Академию... – т. е. на будущий Ягеллонский университет, основанный королем Казимиром III в 1364 г. и в первые века называвшийся Краковской академией, а в 1400 г. обновленный и реорганизованный, чему содействовала королева Ядвига (см. Предисловие), которая завещала университету принадлежавшее ей имущество.

раз поблизости нигде нет войны?» Ему даже в голову не пришло, что служить можно не только мечом, рогатиной или секирой, и он готов был один ударить на всю рать Тимура Хромого. Ему хотелось тотчас после обедни вскочить на коня и на что-то решиться. На что? Этого он сам не знал. Он знал только, что стораает от нетерпения, что не может сидеть сложа руки, что вся душа его горит...

Он снова совсем позабыл о грозившей ему опасности. На мгновение он позабыл даже о Данусе, а когда в костеле запели вдруг детские голоса и он вспомнил о ней, то почувствовал, что с нею – это «совсем особая статья». Данусе он дал обет верности, дал обет убить трех немцев – и свершит этот обет, но королева выше всех женщин, и когда он подумал о том, сколько немцев он желал бы убить для королевы, то увидел горы панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, но и этого ему показалось мало...

Он не спускал глаз с королевы, раздумывая с одушевленным сердцем о том, какой молитвой почтить ее, ибо полагал, что за королеву как-нибудь молиться нельзя. Он умел прочесть: «*Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum*»³⁸. Этому научил его один францисканец в Вильно, но то ли сам монах не знал больше, то ли Збышко позабыл остальную часть молитвы, только прочесть «Отче наш» до конца он не мог. Однако сейчас он стал без конца повторять эти несколько слов, которые в его душе значили: «Поддай возлюбленной нашей Владычице здравие, житие и благоденствие и пекись о Ней более, нежели обо всем прочем». Поскольку слова молитвы повторял человек, над собственной головой которого нависла угроза суда и кары, ясно, что во всем костеле никто не молился более искренне...

Когда кончилась обедня, Збышко подумал, что если бы ему позволили предстать пред очи королевы, пасть пред нею ниц и обнять ее колена, то пусть бы уж после этого наступил конец света; но после первой обедни началась вторая, за нею третья, а затем королева удалилась в свои покои, так как она обыкновенно постилась до полудня и намеренно не принимала участия в веселых завтраках, во время которых для потехи короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Вместо королевы Збышко увидел старого рыцаря из Длуголяса, который позвал его к княгине.

– За завтраком ты будешь прислуживать мне и Данусе как мой придворный, – сказала княгиня, – вдруг королю понравится твое острое словцо или какая-нибудь шутка, и ты привлечешь его сердце. А если тебя узнает крестоносец, то, может, не станет жаловаться, увидев, что ты прислуживаешь мне за королевским столом.

Збышко поцеловал княгине руку, а затем повернулся к Данусе; тут он, хоть и более привык к войнам и сражениям, нежели к придворным обычаям, вспомнил, видно, как надлежит себя вести рыцарю, когда утром он встречает свою госпожу: отступив на шаг, он изобразил на своем лице изумление и, крестясь, воскликнул:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!..

Подняв на него голубые глазки, Дануса спросила:

– Что это ты, Збышко, крестишься, ведь обедня уж кончилась?

– О прекрасная панна, как же ты за эту ночь похорошела! Это просто чудо!

Но Миколай из Длуголяса, человек старый, не любивший новых иноземных рыцарских обычаев, пожал плечами и сказал:

– Что ты попусту время теряешь, болтаешь тут ей о красоте! Коротышка, от земли не видно!

Збышко в негодовании воззрился на старика.

– Берегитесь называть ее коротышкой, – сказал он, бледнея от гнева, – и знайте, что, будь вы помоложе, я тотчас приказал бы утоптать землю за замком и сразился бы с вами насмерть!..

– Молчи, щенок!.. Я и сегодня справился бы с тобой!

³⁸ «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое» (лат.).

– Молчи! – повторила княгиня. – Нет чтоб подумать о собственной голове, он еще в драку рвется! Лучше было мне поискать Данусе рыцаря порассудительней. Вот что я тебе скажу: хочешь смутянить, ступай на все четыре стороны, нам здесь такие не нужны...

Збышко стало стыдно, и он начал просить у княгини прощения. Но при этом он подумал, что если только у пана Миколая из Длуголяса есть взрослый сын, то когда-нибудь он уж вызовет его на поединок, пешего ли, конного ли, и отомстит за коротышку. А пока Збышко решил держаться в королевских покоях тише воды ниже травы и никого на поединок не вызывать, разве только если этого потребует рыцарская честь...

Звуки труб известили, что завтрак подан, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми в ожидании ее стояли вельможи и рыцари. Княгиня Александра вошла уже первая – как родная сестра короля, она занимала за столом место выше. Вскоре покои наполнились иноземными гостями и приглашенными к завтраку вельможами и рыцарями. Король сидел на верхнем конце, рядом с ним – епископ краковский и Войцех Ястжембец, который как папский посол занимал место по правую руку от короля, хотя саном был ниже епископа. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно расположился в широком кресле бывший гнезненский архиепископ Ян, князь из рода силезских Пястов, сын Болька III, князя опольского. Збышко слышал о нем при дворе Витовта и сейчас, стоя позади княгини и Дануси, тотчас признал князя по густой и кудлатой гриве, которая напоминала церковное кропило. При дворах польских князей его так и называли Кропилом, и даже крестоносцы прозвали его «Грапидлом». Это был человек, известный своим веселым и легким нравом. Получив против воли короля гнезненскую архиепископию, он хотел занять ее с оружием в руках; лишенный за это сана и изгнанный, связался с крестоносцами, которые дали ему на Поморье бедную каменскую епископию. Только тогда поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил у него прощение, вернулся на родину и стал ждать, пока освободится какая-нибудь епархия, в надежде получить ее у милостивого короля. Надежды его впоследствии оправдались, а пока он старался шутками привлечь к себе сердце короля. Однако к крестоносцам он по-прежнему питал расположение. Даже сейчас, при дворе Ягайла, где ни вельможи, ни рыцари не проявляли к нему особой благосклонности, он искал общества Лихтенштейна и старался сесть за стол рядом с ним.

Так было и на этот раз. Став за креслом княгини, Збышко очутился так близко от крестоносца, что мог бы достать до него рукой. Молодой рыцарь сразу почувствовал, что у него руки чешутся и невольно сжимаются кулаки, однако укротил свой порыв и не позволил себе даже подумать что-нибудь неподобающее. Однако время от времени он с вождением поглядывал на белобрысую голову Лихтенштейна, начинавшую лысеть на макушке, на его шею, плечи и спину, как бы стараясь прикинуть, долго ли придется провожаться с ним в бою или в единоборстве. Збышко подумалось, что не очень долго, – хотя под узким кафтаном из тонкого серого сукна у крестоносца выдавались могучие лопатки, все же он был жидок по сравнению с Повалой, Пашком Злодзеем из Бискупиц, обоими славными Сулимчиками, Кшоном из Козихглов и многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом.

С восторгом и завистью глядел на них Збышко, но главное его внимание привлек все же сам король. Посматривая по сторонам и то и дело закидывая пальцами волосы за уши, он как будто гневался, что завтрак все еще не подан. На мгновение взгляд его задержался на Збышке, страх объял тут молодого рыцаря, ужасная тревога овладела им при одной мысли о том, что ему, наверно, придется предстать пред гневным лицом короля. Впервые он не на шутку задумался о том, что не миновать ему ответа за свой проступок, – до этой поры самая мысль о каре, которую он может понести, казалась ему далекой, смутной и потому не стоящей внимания.

Немец и не догадывался, что рыцарь, который дерзко напал на него на большой дороге, находится так близко от него. Начался завтрак. Подали винную похлебку, так крепко при-

правленную яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном, что дух пошел по всей комнате. Шут Цярушек, сидевший на табурете у двери, тотчас стал подражать пению соловья, что, видно, веселило короля. Со слугами, обносившими гостей, обходил стол другой шут; незаметно останавливаясь, он так искусно подражал жужжанию пчелы, что некоторые гости клали ложки и начинали отмахиваться. При виде этого остальные заливались смехом. Збышко усердно прислуживал княгине и Данусе, но когда и Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющей макушке, он снова позабыл про опасность и тоже смеялся до слез, а князь литовский Ямонт, сын смоленского наместника³⁹, стоявший неподалеку от него, с таким усердием вторил ему, что даже ронял кушанья с блюд.

Крестоносец заметил наконец свою ошибку, повернулся к епископу Кропило и, сунув руку в калиту, сказал несколько слов по-немецки, которые епископ тут же повторил по-польски.

– Вот что говорит тебе благородный рыцарь, – обратился он к шуту, – получишь два скойца, только не жужжи так близко, а то пчел отгоняют, а трутней бьют...

Шут спрятал два скойца, которые дал ему крестоносец, и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, проговорил:

– Много меду в земле добжинской, потому и обсели ее трутни. Бей же их, король Владислав!

– Вот тебе и от меня грош за острое слово, – сказал ему Кропило, – только помни, что, коли кресло оборвется, бортник себе шею свернет. Есть жала у мальборкских трутней, которые обсели Добжин, и опасно соваться к ним в борть.

– Эва! – воскликнул краковский мечник, Зындрам из Машковиц. – Можно выкурить их!

– Чем?

– Порохом!

– Или срубить борть топором! – сказал великан Пашко Злодзей из Бискупиц.

У Збышка взыграло сердце от радости, ибо он полагал, что такие речи сулят войну. Но Куно Лихтенштейн тоже понимал эти речи, – живя долго в Торуне и Хмелю, он научился польскому языку и не говорил по-польски только из гордости. Однако сейчас, уязвленный словами Зындрема из Машковиц, он устремил на него свои серые глаза и бросил:

– Увидим.

– Наши отцы под Пловцами видали, да и мы видали под Вильно, – ответил ему Зындрам.

– *Rax vobiscum!* – воскликнул Кропило. – *Rax! Rax!*⁴⁰ Пусть только преосвященный Миколлай из Курова покинет куявскую епископию, а милостивый король назначит меня его преемником, я произнесу вам такую прекрасную проповедь о любви между христианскими народами, что всех вас укрошу. Ибо что такое ненависть, как не *ignis*, к тому же *ignis infernalis*⁴¹ – огонь столь страшный, что водой его не унять, разве только вином можно залить. Дайте вина! Пей, гуляй, как говаривал покойный епископ Завиша из Курозвенк!

– А с гулянки в ад ступай, как говаривал черт! – прибавил шут Цярушек.

– Пускай черт тебя утащит!

– Любопытней будет, коли вас. Не видали еще черта с Кропилом, но я думаю, что вы всех нас потешите...

– Сперва я еще тебя покроплю. Дайте вина, и да здравствует любовь между христианами!

– Между истинными христианами! – с ударением повторил Куно Лихтенштейн.

³⁹ *Смоленский наместник*. – Смоленск был захвачен Витовтом в 1395 г. В 1401 г. смоляне восстали, убили литовского наместника и поставили своего князя. Витовт снова взял город в 1404 г. после осады. В 1514 г. Смоленск был отвоеван Русским государством, в 1611 г. опять, несмотря на героическое сопротивление, захвачен Сигизмундом III (1566—1632). Взят войсками царя Алексея Михайловича (1629—1676) в 1654 г.

⁴⁰ Мир вам!...Мир! Мир! (*лат.*)

⁴¹ адский огонь (*лат.*).

– Как? – поднимая голову, воскликнул епископ краковский Выш. – Разве вы не обретаетесь в издревле христианском королевстве? Разве храмы наши не древней мальборкских?

– Не знаю, – ответил крестоносец.

Король был особенно щепетилен, когда дело касалось христианства. Ему показалось, что этот крестоносец хочет уколоть его самого; выдавшиеся скулы тотчас покрылись у него красными пятнами, и глаза засверкали.

– Что сие означает? – раздался его густой голос. – Разве я не христианский король?

– Королевство почитается христианским, – холодно возразил крестоносец, – но обычаи в нем языческие...

При этих словах поднялись грозные рыцари: Марцин из Вроцимовиц герба Пулкова, Флориан из Корытницы, Бартош из Водзинка, Домарат из Кобылян, Повала из Тычева, Пашко Злодзей из Бискупиц, Зындрам из Машковиц, Якса из Тарговиска, Кшон из Козихглов, Зигмунт из Бобровой и Сташко из Харбимовиц, могучие, славные победители во многих битвах, на многих турнирах, и, то пылая от гнева, то бледнея, то скрежеща зубами, стали кричать наперебой:

– Горе нам! Он наш гость, и мы не можем вызвать его на бой!

А Завиша Чарный Сулимчик, славнейший из славных, «образец рыцаря», нахмурясь, обратился к Лихтенштейну и сказал:

– Я не узнаю тебя, Куно! Как можешь ты, будучи рыцарем, позорить великий народ, зная, что, как послу, тебе не грозит за это кара?

Но Куно спокойно выдержал грозный взгляд и ответил раздельно и медленно:

– Прежде чем прибыть в Пруссию, наш орден воевал в Палестине, но даже там сарацины уважали послов. Только вы одни их не уважаете. Потому я и назвал ваши обычаи языческими.

Шум при этом поднялся еще больший. За столом снова раздалась возгласы:

– Горе нам, горе!

Но все стихли, когда король, лицо которого пылало от гнева, по литовскому обычаю несколько раз хлопнул в ладоши. Тогда встал краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина, седой и важный старик, чей высокий сан вселял страх в сердца, и сказал:

– Благородный рыцарь из Лихтенштейна, если вам как послу нанесли оскорбление, говорите, суд у нас будет скорый и правый.

– Ни в каком ином христианском государстве этого со мной не случилось бы, – ответил Куно. – Вчера по дороге в Тынец на меня напал один ваш рыцарь и, хотя по кресту на плаще легко мог признать, кто я, посягнул на мою жизнь.

Услыхав эти слова, Збышко побледнел, как мертвец, и невольно обратился к королю, лицо которого стало просто страшным. Ясько из Тенчина спросил в изумлении:

– Мыслимо ли это?

– Спросите пана из Тачева, он был очевидцем.

Все взоры обратились на Повалу, который с минуту времени стоял, мрачно потупив глаза, а потом сказал:

– Да, это правда!..

– Позор! Позор! – вскричали рыцари при этих словах. – Расступись земля под таким рыцарем! – Со стыда одни били себя кулаками в грудь и хлопали по бедрам, другие мяли в руках оловянные миски, стоявшие на столе.

– Почему же ты не убил его? – громовым голосом закричал король.

– Потому что он должен держать ответ перед судом, – сказал Повала.

– Цепи вы надели на него? – спросил каштелян Топор из Тенчина.

– Нет, он поклялся рыцарской честью, что явится на суд.

– И не является! – поднимая голову, насмешливо воскликнул Куно.

Но тут за спиной крестоносца раздался молодой печальный голос:

– Не приведи Бог, чтобы я смерти предпочел позор. Это я сделал, Збышко из Богданца.

При этих словах рыцари кинулись к несчастному Збышку, но король остановил их грозным манием руки; он поднялся, сверкая глазами, и, задыхаясь от гнева, закричал голосом, подобным грохоту телеги, катящейся по камням:

– Обезглавить его! Обезглавить! Пусть крестоносец отошлет его голову магистру в Мальборк!

Затем он крикнул стоявшему поблизости молодому литовскому князю, сыну смоленского наместника:

– Держи его, Ямонт!

Потрясенный королевским гневом Ямонт положил трепещущие руки на плечи Збышка, но тот, обратив к нему побледневшее лицо, сказал:

– Я не убегу...

Седобородый каштелян краковский, Топор из Тенчина, поднял тут руку в знак того, что хочет говорить, и, когда все стихли, сказал:

– Всемиловейший король! Пусть комтур убедится, что за покушение на особу посла не ты во гневе караешь смертью, но наш закон. Иначе он вправе будет подумать, что нет у нас в королевстве закона христианского. Я сам буду судить виновного!

Последние слова он произнес, повысив голос, и, видимо, не допуская даже мысли, что этот голос может не быть услышан, кивнул Ямонту:

– Запереть его в башню. А вы, пан из Тачева, будете свидетелем.

– Я расскажу, в чем провинился сей отрок; никто из нас, зрелых мужей, не совершил бы такого поступка, – ответил Повала, мрачно глядя на Лихтенштейна.

– Верно! – тотчас подхватили другие. – Разве это рыцарь? Мальчик! Зачем же из-за него нас всех покрыли позором?

Наступило минутное молчание, все устремили на крестоносца враждебные взгляды. Тем временем Ямонт вывел Збышка из зала, чтобы передать его в руки лучников, стоявших во дворе замка. Жалость к узнику пробудилась в молодом его сердце, она была тем сильнее, что князь от рождения ненавидел немцев. Но как литвин он привык слепо повиноваться воле великого князя, да и сам был испуган королевским гневом, поэтому по дороге он стал нашептывать молодому рыцарю:

– Знаешь, что я тебе скажу: ты удавись! Лучше всего сразу удавись. Король разгневался, и тебе все равно отрубят голову. Почему бы тебе его не потешить? Удавись, друг мой! У нас такой обычай.

Збышко, в полубеспамятстве от страха и стыда, сперва, казалось, не понял речей князя, но, постигнув наконец их смысл, даже приостановился в изумлении.

– Что это ты болтаешь?

– Удавись! Зачем это нужно, чтобы тебя судили? Короля потешишь! – повторил Ямонт.

– Сам удавись! – воскликнул молодой рыцарь. – Как будто и крещеный ты, а шкура у тебя осталась языческая, ты даже не понимаешь, что грех христианину душу свою губить.

Но князь пожал плечами:

– Да ведь это не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову.

У Збышка мелькнула мысль, что за такие речи следовало бы вызвать боярского сынка на поединок, пешего или конного, на мечах или на секирах, но он подавил это желание, вспомнив, что времени для этого у него не будет. Печально опустив голову, он в молчании предался в руки начальника дворцовых лучников.

А в зале тем временем всеобщее внимание было привлечено другим. Увидев, что творится, Дануся сперва так испугалась, что дыхание замерло у нее в груди. Личико ее побледнело, глазки округлились от ужаса, неподвижно, как восковая статуэтка в костеле, уставилась она на короля. Но когда девочка наконец услышала, что ее Збышку хотят отрубить голову, когда его

забрали и вывели из зала, безмерная жалость овладела ею, губы и брови у нее задрожали; как ни боялась она короля, как ни закусывала губы, однако не смогла удержаться от слез и расплакалась вдруг так жалобно и громко, что все лица обратились к ней и даже сам король спросил:

– Что случилось?

– Всемиловейший король! – воскликнула княгиня Анна. – Это дочь Юранда из Спыхова, которой несчастный молодой рыцарь дал обет. Дал он обет ей сорвать со шлемов три павлиньих чуба и, увидев такой чуб на шлеме комтура, решил, что это ему Сам Бог его посылает. Не по злобе он сделал это, государь, а только по глупости, будь же милостив и не карай его, мы на коленях просим тебя об этом.

Тут она поднялась и, схватив за руку Данусю, подбежала с нею к королю. Король отшатнулся от них, но они обе упали ему в ноги, и Дануся, обхватив руками его колени, стала кричать:

– Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

И, в самозабвении и вместе с тем в страхе, она спрятала свою светлую головку в складках серого платья короля и, трепеща как лист, стала целовать ему колени. Княгиня Анна Данута стояла на коленях с другой стороны и, сложив руки, с мольбою смотрела на короля, на лице которого изобразилось сильное смущение. Он отодвигался с креслом от Дануси и княгини, но не отталкивал Дануси, а только махал обеими руками, точно отгоняя муху.

– Оставьте меня в покое! – кричал король. – Он провинился, опозорил все королевство! Пусть же его обезглавят!

Но маленькие ручки все теснее сжимали его колени, а детский голосок кричал все жалобней:

– Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

Вдруг раздались голоса рыцарей:

– Юранд из Спыхова – славный рыцарь, гроза немцев!

– И отрок уже отличился под Вильно, – прибавил Повала.

Но король настаивал на своем, хотя и был тронут видом Дануси.

– Оставьте меня в покое! Он не предо мной провинился, и я не могу его помиловать. Пусть посол ордена простит его, тогда и я его помилую, а нет, так пусть его обезглавят.

– Прости его, Куно, – сказал Завиша Чарный Сулимчик, – сам магистр не станет укорять тебя за это.

– Прости его, рыцарь! – воскликнули обе княгини.

– Прости его, прости! – подхватили рыцари.

Прищутив глаза, Куно сидел с поднятой головой, словно тешась тем, что обе княгини и столь славные рыцари обращаются к нему с мольбою. И вдруг в один миг он преобразился: опустив голову, скрестил на груди руки, из надменного стал смиренным и мягким, тихим голосом произнес:

– Христос, Спаситель наш, простил на кресте разбойника и врагов Своих...

– Вот это речь, достойная благородного рыцаря! – сказал епископ Выш.

– Справедливые слова! Справедливые!

– Как же мог бы я не простить, – продолжал Куно, – если я не только христианин, но и монах? Посему как слуга Христов и монах я прощаю его от всей души, от всего сердца!

– Слава ему! – крикнул Повала из Тачева.

– Слава! – подхватили другие рыцари.

– Но, – сказал крестоносец, – среди вас я посол и олицетворяю величие своего ордена, который является орденом Христа. Кто нанес мне как послу оскорбление, тот оскорбил орден, кто же оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа, а такое оскорбление я перед Богом и людьми не могу простить; если же закон ваш простит его, то пусть узнают об этом все христианские государи.

Немое молчание воцарилось при этих словах. Лишь через минуту послышался скрежет зубов, тяжелые вздохи подавленной ярости и рыдания Дануси.

К вечеру все сердца склонились на сторону Збышка. Те самые рыцари, которые утром по манию короля готовы были изрубить его мечами, теперь искали способа спасти его. Княгини решили обратиться к королеве с просьбой уговорить Лихтенштейна взять назад свою жалобу, а в случае надобности послать письмо великому магистру с просьбой повелеть Куно не поднимать этого дела. Путь этот представлялся верным, так как Ядвига была окружена таким необычайным почетом, что великий магистр навлек бы на себя гнев папы и недовольство всех христианских государей, если бы отказал ей в этом. Можно было думать, что Конрад фон Юнгинген не откажет королеве и потому, что он был человек мирный и гораздо более мягкий, чем его предшественники. К несчастью, епископ краковский Выш, который был в то же время главным лекарем королевы, строго-настрого запретил княгиням даже заикаться об этом деле. «Королева не может спокойно слышать о смертных приговорах, – сказал он. – Если речь идет даже о простом разбойнике, она принимает это близко к сердцу; что же говорить об отроке, который справедливо может надеяться на ее милосердие? Однако всякое волнение вредно королеве и легко может привести к тяжелой болезни, здоровье же ее для королевства дороже десятка рыцарских голов». Каждому, кто осмелится вопреки его запрету потревожить королеву, епископ пригрозил в заключение страшным королевским гневом и вдобавок преданием анафеме.

Обе княгини испугались и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор неотступно умолять короля, пока он не смирится над Збышком. Весь двор и все рыцари были уже на стороне Збышка. Повала из Тачева обещал сказать на суде всю правду, но свидетельствовать в пользу Збышка и представить все дело как следствие мальчишеской его безрассудности. И все же каждый предвидел, а каштелян Ясько из Тенчина заявлял об этом во всеуслышание, что если крестоносец станет настаивать, то жестокая казнь будет свершена.

Тем большим гневом пылали сердца рыцарей против Лихтенштейна, и не один из них думал про себя, а то и заявлял громогласно: «Он посол, и на поединок его не вызовешь, но пусть только вернется в Мальборк, не умереть ему собственной смертью». Это не были пустые угрозы, ибо опоясанным рыцарям не пристало бросать слова на ветер, и если уж кто давал какой-нибудь обет, должен был выполнить его или погибнуть. Больше всех негодовал грозный Повала, у него в Тачеве была любимая дочка одних лет с Данусей, и слезы Дануси вконец сокрушили его.

В тот же день Повала посетил Збышка в темнице, велел ему не падать духом и рассказал о том, как за него просили обе княгини и как заливалась слезами Дануся... Узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, Збышко растрогался до слез и, не умея выразить свою благодарность Данусе и тоску по ней, сказал, утирая глаза:

– Эх! Да благословит ее Бог, а мне даст поскорее сразиться за нее пешему или конному! Слишком мало пообещал я ей немцев, такой девушке надо было столько пообещать их, сколько ей лет. Коли вызволит меня Христос из этой беды, уж я их для нее не пожалею!..

И он поднял к небу полные благодарности глаза...

– Ты сперва пообещай что-нибудь на Церковь, – возразил пан из Тачева, – ведь если твоя жертва будет угодна Богу, ты наверняка выйдешь на свободу. А потом, послушай: твой дядя пошел к Лихтенштейну, а потом пойду и я. Не зазорно будет тебе попросить у него прощения, ведь ты и в самом деле провинился, да и просить прощения будешь не у какого-то Лихтенштейна, а у посла. Согласен?

– Коли мне такой рыцарь, как вы, ваша милость, говорит, что это не зазорно, – я так и сделаю! Но если крестоносец захочет, чтобы я попросил у него прощения так, как он требовал по дороге из Тынца, то пусть уж лучше мне отрубят голову. Останется дядя, он отомстит за меня крестоносцу, когда тот кончит править посольство...

– Посмотрим, что он скажет Мацьку, – сказал Повала.

Мацько и в самом деле побывал вечером у немца, но тот принял его с таким высокомерием, что даже свет не велел зажечь и говорил со старым рыцарем впотьмах. Мацько вернулся от него темный, как ночь, и направился к королю. Король принял его милостиво, потому что у него уже совсем отошло от сердца, и когда Мацько упал к его ногам, велел старику встать и спросил, чего ему надобно.

– Милостивейший государь, – сказал Мацько, – как говорится, виноват – клади голову на плаху, иначе не было б никакого закона на свете. Но есть в том и моя вина, не удерживал я хлопча, отроду горячего, а, наоборот, поощрял этот его недостаток. Так я его воспитывал, а потом с малых лет воспитывала его война. Моя вина, милостивейший король, не раз я ему говаривал: сперва руби, а там посмотришь, кого изрубил. Хорошо было это на войне, да худо при дворе! Но не хлопец он у меня, а золото, последний в роду, и жаль мне его до смерти...

– Он опозорил меня, опозорил королевство, – возразил король, – что же, мне за это по головке его погладить?

Мацько умолк, потому что при воспоминании о Збышке горло сжалось у него внезапно от жалости, и лишь спустя некоторое время он заговорил все еще взволнованным, прерывистым голосом:

– Только теперь, когда пришла беда, понял я, как люблю его. Стар я, а он у нас последний в роду. Не станет его, не станет и нас. Милостивейший король и государь, пожалей ты род наш!

Тут Мацько снова упал на колени и, протянув свои натруженные на войнах руки, продолжал со слезами:

– Мы защищали Вильно, Бог послал нам богатую добычу, – кому я ее оставляю? Крестоносец требует отплаты, государь, пусть будет по его, но позвольте мне положить голову на плаху. Что мне жизнь без Збышка? Он молод, пусть выкупит землю, детей народит, как заповедал человеку Бог. Крестоносец не спросит, чья голова слетела с плеч, лишь бы слетела. И позор от этого не падет на род. Тяжело идти на смерть, но как пораздумаешь, так лучше смерть принять, чем дать погибнуть роду...

С этими словами он обнял ноги короля; тот заморгал глазами, что было у него признаком волнения, и наконец сказал:

– Не бывать тому, чтобы я опоясанному рыцарю повелел безвинно голову рубить! Не бывать, не бывать!

– Несправедливо было бы это, – прибавил каштелян. – Закон карает виновного, но это не дракон, который не глядит, чью хлещет кровь. Вы и про то подумайте, что позор неминуемо пал бы тогда и на ваш род, – ведь согласись на это ваш племянник, так и его самого, и его потомство все почитали б бесчестными...

– Не дал бы он на то своего согласия, – возразил Мацько. – Но если б все случилось без его ведома, он отомстил бы потом за меня, как и я отомщу за него.

– Эх, – сказал Тенчинский, – добейтесь у крестоносца, чтобы он взял назад свою жалобу...

– Я уж был у него.

– И что же? – вытягивая шею, спросил король. – Что он вам сказал?

– Вот что он мне сказал: «Надо было на тынецкой дороге прощения просить, – вы не захотели, ну а теперь я не хочу».

– А почему же вы не захотели?

– Да он хотел, чтобы мы спешились и пешими просили прощения!

Король заложил волосы за уши и хотел что-то сказать, но в это мгновение вошел придворный и доложил, что рыцарь из Лихтенштейна просит аудиенции.

Ягайло поглядел на Яська из Тенчина, затем на Мацьку и повелел им остаться, должно быть, в надежде, что в этом случае ему легче будет уладить дело своей королевской властью.

Тем временем вошел крестоносец, поклонился королю и сказал:

– Милостивый государь! Вот письменная жалоба на оскорбление, нанесенное мне в вашем королевстве.

– Жалуйтесь ему, – ответил король, показывая на Яська из Тенчина.

Глядя прямо в лицо королю, крестоносец ответил:

– Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов, одно только я знаю: посол ордена может жаловаться лишь самому королю.

Ягайло от нетерпения замигал глазками, однако протянул руку, взял жалобу и отдал ее Тенчинскому.

Тот развернул жалобу и начал ее читать; по мере того как он читал, лицо его становилось все более печальным и озабоченным.

– Вы, пан рыцарь, – сказал он наконец, – так настаиваете на казни этого отрока, точно он страшен всему вашему ордену. Неужто вы, крестоносцы, боитесь уже детей?

– Мы, крестоносцы, не боимся никого, – надменно ответил комтур.

А старый каштелян тихо прибавил:

– Особенно же Господа Бога.

На другой день в каштелянском суде Повала из Тачева делал все, что только было в его силах, чтобы смягчить вину Збышка. Однако он тщетно приписывал его поступок ребячеству и неопытности, тщетно говорил о том, что если бы даже рыцарь постарше, пообещав три павлиньих чуба и помолясь о ниспослании ему их, увидел внезапно перед собой такой чуб, то мог бы тоже усмотреть в этом руку Провидения. Одного достойный рыцарь не мог отрицать, а именно того, что если бы не он, копье Збышка пронзило бы грудь крестоносца. Куно велел принести на суд доспехи, которые в тот день были на нем, и оказалось, что они были из тонкого и хрупкого железа и надевали их только в торжественных случаях, так что Збышко при его необычайной силе неминуемо проткнул бы их насквозь своим копьем и убил бы посла насмерть. После этого Збышка спросили, имел ли он намерение убить посла, и он не стал этого отрицать. «Я кричал ему издали, – сказал Збышко, – чтобы он наставлял копье – ведь живой он не дал бы сорвать с себя шлем, – но, крикну он мне издали, что он посол, я бы его оставил в покое».

Эти слова понравились рыцарям, которые из сочувствия к отроку целой толпой явились на суд, и тотчас раздались многочисленные голоса:

– Это верно, почему он не кричал?

Но лицо каштеляна оставалось угрюмым и суровым. Приказав присутствующим соблюдать тишину, он сам помолчал с минуту времени, а затем, устремив на Збышка испытующий взор, спросил:

– Можешь ли ты поклясться на распятии, что не видел плаща и креста?

– Никак не могу! – ответил Збышко. – Если б я не видел креста, я бы подумал, что это наш рыцарь, а на нашего я не стал бы нападать.

– А какой же под Краковом мог очутиться другой крестоносец, как не посол или кто-нибудь из посольской свиты?

Збышко на это ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Всем было ясно, что если бы не пан из Тачева, то теперь, к вечному стыду польского народа, перед судом лежал бы не панцирь посла, а сам посол с пронзенной грудью, так что даже те, кто от всего сердца сочувствовал Збышку, понимали, что приговор не может быть милостивым.

Через минуту каштелян сказал:

– Поскольку в запальчивости ты не подумал, на кого нападаешь, и не по злобе это учинил, зачтется и простится тебе это перед Спасителем нашим, но ты, бедняга, передай душу свою в руки Пресвятой Девы, ибо закон не может тебя простить...

Збышко готов был ко всему, и все же при этих словах он побледнел, однако тут же откинул назад свои длинные волосы, перекрестился и сказал:

– Воля Божья! Что ж, ничего не поделаешь!

Затем он повернулся к Мацьку и показал ему глазами на Лихтенштейна, как бы прося помнить о нем, а Мацько кивнул головой в знак того, что все понимает и все помнит. Этот взгляд и это движение не ускользнули от Лихтенштейна, и хотя в груди его билось сердце столь же злобное, сколь и отважное, однако на короткое мгновение трепет объял его, таким страшным и зловещим было лицо старого воина. Крестоносец понял, что между ним и старым рыцарем, лица которого он под шлемом не мог даже хорошенько рассмотреть, отныне начнется борьба не на жизнь, а на смерть, что если бы он пожелал даже скрыться от старика, все равно это ему не удастся, и, когда кончится его посольство, они неизбежно встретятся хотя бы в том же Мальборке.

Тем временем каштелян удалился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать искусному писцу приговор Збышку. В перерыве то один, то другой рыцарь говорил, подходя к крестоносцу:

– Чтоб тебя на Страшном Суде милостивей осудили! Крови радуешься?

Но Лихтенштейну важно было только мнение Завиши, который снискал себе широкую славу ратными подвигами, знанием рыцарских законов и строжайшим их соблюдением. Когда речь шла о рыцарской чести, к нему обращались по самым сложным делам, причем приезжали порой издалека, и никто не смел ему противоречить не только потому, что единоборство с ним было делом немыслимым, но и потому, что его почитали «зерцалом чести». Слово упрека или похвалы из его уст быстро разносилось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии, и оно одно уже могло принести худую или добрую славу.

Лихтенштейн приблизился к нему и, как бы желая оправдать свою жестокость, сказал:

– Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать, – я не могу...

– Ваш магистр нам не указ. Не он, а только наш король может его помиловать, – возразил Завиша.

– Но как посол я должен был потребовать возмездия.

– Ты, Лихтенштейн, прежде всего не посол, а рыцарь...

– Неужели ты думаешь, что я уронил свою рыцарскую честь?

– Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарь должен следовать двум зверям: льву и ягненку. Кому же из них ты в этом случае следовал?

– Ты мне не судья...

– Ты спрашивал у меня, не уронил ли свою рыцарскую честь, вот я тебе и ответил, что об этом думаю.

– Стало быть, плохо ответил, коли твое слово колом мне поперек горла стало.

– Не моим, а своим злым словом ты подавишься.

– Но Христос мне зачтет, что я больше заботился о величии ордена, нежели о твоих похвалах.

– Он всех нас будет судить.

Дальнейший разговор был прерван появлением каштеляна и писца. Хотя все уже знали, что приговор будет суровым, однако воцарилась немая тишина. Каштелян занял место за столом и, взяв в руки распятие, велел Збышку стать на колени.

Писец стал читать по-латыни приговор. Ни Збышко, ни присутствующие на суде рыцари не понимали по-латыни, однако все догадались, что это смертный приговор. Когда писец кончил читать, Збышко стал бить себя в грудь, повторяя:

– Боже, милостив будь ко мне, грешному!

Затем он встал и бросился в объятия Мацька, который молча стал целовать его в голову и глаза.

В тот же день вечером на четырех углах рынка герольд под звуки труб оповестил рыцарей, гостей и горожан, что благородный Збышко из Богданца по приговору каштелянского суда будет обезглавлен мечом...

Но в те времена было в обычае перед смертью распорядиться до последней мелочи имуществом, и приговоренным к смертной казни всегда давали время договориться о наследстве с родными, да и помириться с Богом; поэтому Мацьку легко удалось испросить разрешение отсрочить смертную казнь. Лихтенштейн тоже не настаивал на немедленном приведении приговора в исполнение, понимая, что оскорбленный орден получил удовлетворение и не стоит больше гневить могущественного монарха, к которому он был послан не только для участия в торжествах по случаю крестин, но и для переговоров о земле добжинской. Однако самым важным во всем этом деле было здоровье королевы. Епископ Выш и слышать не хотел о том, чтобы обезглавить Збышка до разрешения королевы от бремени, он справедливо полагал, что, узнав о казни, которую трудно будет от нее утаить, королева непременно растрожится, и это может губительно отразиться на ее здоровье. Таким образом, для последних распоряжений и прощания со знакомыми Збышку оставалось, быть может, даже несколько месяцев.

Мацько навещал его каждый день и утешал, как умел. С тоской говорили они о неизбежной смерти Збышка и с еще большей тоской о том, что их род может угаснуть.

– Ничего не поделаешь, придется вам жениться, – сказал однажды Збышко.

– Уж лучше поискать хоть какого-нибудь дальнего родича, – возразил озабоченный Мацько. – Где уж мне о женитьбе помышлять, когда тебе должны голову отрубить. Да коли и непременно надо жениться, и то я этого не сделаю, покуда не пошлю Лихтенштейну рыцарского вызова на поединок и не отомщу за тебя. Ты не бойся!..

– Да вознаградит вас Бог. Пусть хоть это будет мне утешением! Я знал, что вы ему этого не простите. Как же вы это сделаете?

– Как кончится его посольство, либо война будет, либо мир – понимаешь? Коли будет война, я перед боем пошлю ему вызов на единоборство.

– На утопанной земле?

– На утопанной земле, конными или пешими, но только на смерть, а не на неволю. Ну а коли будет мир, я поеду в Мальборк и ударю копьём в ворота замка, а трубачу велю протрубить, что вызываю Лихтенштейна на смертный бой. Небось не спрячется.

– Ну конечно, не спрячется, да и вы с ним справитесь, как пить дать.

– С ним-то?.. С Завишей не справился бы, с Пашком не справился бы, да и с Повалой тоже; ну а с такими, как он, не хвалясь скажу, с двумя справлюсь. Я ему покажу, этому тевтонскому псу! Разве не сильнее его был фризский рыцарь⁴²? А как рубанул я его сверху по шлему, где завязла моя секира? В зубах завязла. Верно я говорю?

Збышко вздохнул с облегчением и сказал:

– Легче мне будет смерть принять.

И оба они завздохали. Помолчав, старый шляхтич опять заговорил растроганным голосом:

– Ты не горюй! На Страшном Суде не придется твоим косточкам друг дружку искать. Гроб я велел сколотить тебе дубовый, такой, что у каноников из костела Девы Марии и то лучше нету. Не погибнешь ты как какой-нибудь выскочка-шляхтич, что из мужиков жалуют. И не допущу я, чтоб тебе голову рубили на том самом сукне, на котором рубят горожанам. Я уже договорился с Амылеем, он даст совсем нового и такого отменного сукна, что и на шубу королю пригодилось бы. И на помин души я денег не пожалею – не бойся!

Возрадовалось при этих словах сердце Збышка, и, склонившись к руке дяди, он повторил:

– Спасибо вам.

⁴² *Фризский рыцарь...* – Речь идет о рыцаре из Фрисландии (историческая область у берегов Северного моря, ныне провинция Нидерландов).

Порой, несмотря на все утешения, Збышком овладевала страшная тоска, и однажды, когда Мацько пришел его навестить, он, едва поздоровавшись с дядей, спросил, глядя через решетку в стене:

– А как там, на дворе?

– Красный денек, солнышко греет, не нарадуешься.

Сжав руками затылок и запрокинув голову, Збышко сказал:

– Эх, Боже ты мой! Сесть бы на коня да скакать по полям по широким! Жаль погибать молодому! Страх как жаль!

– Гибнут люди и на коне! – возразил Мацько.

– Да, но скольких раньше сами перебьют!..

И он стал расспрашивать про рыцарей, которых видел при королевском дворе: про Завишу, про Фарурея, про Повалу из Тачева, про Лиса из Тарговиска и про всех прочих – что они поделывают, как веселятся, как совершенствуются в благородном военном искусстве? Он жадно слушал рассказы Мацька, который описывал ему, как по утрам рыцари в броне прыгают через коней, как рвут веревки, как испытывают свои силы в единоборстве на мечях и секирах со свинцовыми лезвиями и, наконец, как пируют и какие поют песни. Всей душой, всем сердцем рвался к ним Збышко; когда же он узнал, что Завиша сразу же после крестин собирается выступить куда-то в долину Венгрии против турка, он не мог удержаться от восклицания:

– Вот бы меня с ним пустили! Лучше было бы мне сложить голову в бою с басурманом!

Но об этом нечего было и думать, да и новые произошли тут события. Обе мазовецкие княгини не переставали думать о Збышке, пленившем их своей молодостью и красотой. В конце концов княгиня Александра надумала послать письмо великому магистру. Правда, он не мог отменить приговор, вынесенный каштеляном, но мог заступиться за юношу перед королем. Не подобало Ягайлу миловать виновного, когда речь шла о посягательстве на жизнь посла, но если бы за Збышка заступился сам магистр, король, пожалуй, с радостью помиловал бы его. Надежда вновь проснулась в сердцах обеих княгинь. Рыцари ордена с их лоском высоко ценили княгиню Александру, которая сама питала к ним слабость. Неоднократно получала она из Мальборка богатые дары и послания, в которых магистр называл ее досточтимой благодетельницей и ревностной заступницей ордена. Слово ее значило много, и было весьма вероятно, что она не встретит отказа. Надо было только найти гонца, который постарался бы поскорее доставить письмо и вернуться назад с ответом. Услышав об этом, старый Мацько без колебаний взялся за дело.

Каштелян внял просьбам и назначил крайний срок, до которого обещал отложить казнь. Окрылившись надеждой, Мацько в тот же день занялся приготовлениями к отъезду, а затем отправился к Збышку, чтобы сообщить ему радостную весть.

В первый момент Збышко так обрадовался, точно перед ним уже отворились двери темницы. Однако через минуту он задумался, нахмурился вдруг и сказал:

– Как же, дождешься от немцев добра! Лихтенштейн тоже мог просить короля о помиловании и выгадал бы на этом, потому что избегнул бы мести, а все-таки он ничего не захотел сделать...

– Он разъярился оттого, что мы не захотели попросить у него прощения на тынецкой дороге. О великом магистре Конраде люди отзываются неплохо. В конце концов ты ничего на этом не потеряешь.

– Это верно, – сказал Збышко, – только вы ему там не очень-то кланяйтесь.

– Чего мне ему кланяться? Я везу письмо от княгини Александры – вот и вся недолга...

– Ну, коли вы так добры, помогите вам Бог...

Вдруг Збышко бросил на дядю быстрый взгляд и сказал:

– Но если король меня помилует, то Лихтенштейн не ваш будет, а мой. Помните..

– Ты еще не знаешь, уцелеет ли у тебя голова на плечах, так что далеко не загадывай. Довольно уж ты надавал глупых обетов, – сердито проворчал старик.

Тут они бросились друг другу в объятия – и Збышко остался один. Надежду в душе его сменили сомнения, когда же надвинулась ночь, а с нею грозовые тучи, когда в окне засверкали зловещие вспышки молний и стены затряслись от грома, когда, наконец, ветер ворвался со свистом в темницу и погасил тусклый светильник у ложа узника, Збышко во мраке снова потерял всякую надежду и за всю ночь не сомкнул глаз...

«Нет, не уйти мне от смерти, – думал он, – ничем тут не поможешь».

Но утром к нему пришла на свидание досточтимая княгиня Анна, а с нею Дануса с маленькой лютней у пояса. Збышко упал сперва к ногам княгини, а затем Дануси, и хоть не спал ночь напролет, удручен был горем и измучен сомнениями, однако не забыл о рыцарском долге и выразил Данусе свое восхищение ее красотой. Но княгиня подняла на него полные печали глаза и сказала:

– Не любуйся ты на красу ее, а то не привезет Мацько утешительного ответа или вовсе домой не воротится, и придется тебе, бедняге, в скором времени на небесах любоваться чем-нибудь лучше.

И, пораздумав о злой доле молодого рыцаря, стала ронять она слезы, а за ней расплакалась и Дануса. Збышко снова упал к их ногам, потому что и его сердце, как воск от тепла, смягчилось от этих слез. Не любил он Данусю той любовью, какой мужчина любит женщину, но почувствовал он, что любит ее всей душой, что при виде ее что-то творится с его сердцем, будто живет в нем другой человек, не такой суровый, не такой горячий, не такой воинственный, но зато алчущий сладостной любви. И до слез жаль ему стало, что должен он ее покинуть, что не сможет выполнить свои обеты.

– Не положить мне, бедняжка, павлиньих чубов к твоим ногам, – говорил он. – Но если предстану я пред лицом Предвечного, то скажу ему тогда: «Господи, отпусти мне грехи мои, а все блага, какие есть на земле, отдай одной только панне Дануте».

– Недавно вы спознались, – сказала княгиня. – Даст Бог, не понапрасну.

Збышко стал вспоминать все, что случилось в тынецкой корчме, и совсем растрогался. Кончилось тем, что он стал просить Данусю спеть ту самую песню, какую она пела, когда он подхватил ее на руки и принес к княгине.

И хоть Данусе было не до песен, она тут же подняла головку к сводчатому потолку и, закрыв, как птичка, глазки, затянула:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик...»

И вдруг из-под сомкнутых век полились у нее обильные слезы – и она не смогла больше петь. Збышко схватил ее на руки, как тогда в тынецкой корчме, и стал носить по темнице, повторяя в восторге:

– Не одной только госпожи я в тебе искал бы. Если бы только спас меня Бог, да ты подросла, да позволил бы отец – взял бы милую в жены!.. Эх!..

Обняв его за шею, Дануся спрятала заплаканное лицо у него на плече, а в сердце Збышка росла безмерная жалость и рвалась из глубины его вольной и простой славянской души, обращаясь словно в песню полей:

Взял бы милую я в жены,
Любушку мою!..

VI

Неожиданно произошло событие, перед которым все прочие дела потеряли в глазах людей всякое значение. Двадцать первого июня под вечер по замку разнесся слух, что королева внезапно занемогла. Всю ночь в покое королевы оставались епископ Выш и приглашенные лекари, а тем временем от служанок стало известно, что у королевы начались преждевременные роды. Краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина в ту же ночь послал гонцов к отсутствовавшему королю. На следующее утро слух обо всех этих событиях разнесся по всему городу и по всей округе. Был воскресный день, и толпы народа наполнили храмы, где ксендзы велели молиться о здравии королевы. Тогда все стало ясно. После службы иноземные рыцари, которые съехались уже на ожидавшиеся торжества, шляхта и купеческие делегации направились в замок; цехи и братства выступили туда со своими знаменами. В полдень Вавель окружили бесчисленные толпы народа; королевские лучники поддерживали порядок, призывая сохранять спокойствие и тишину. Город почти совсем обезлюдел, лишь толпы крестьян из окружающих деревень проходили порой по опустелым улицам; узнав о болезни горячо любимой королевы, крестьяне тоже устремились к замку. Наконец в главных воротах появились епископ и каштелян, а с ними кафедральные каноники, королевские советники и рыцари. Они разошлись по стене в разные стороны и смешались с толпой; по лицам их было видно, что они готовятся сообщить какую-то весть, однако начали они с того, что строго-настрого приказали воздерживаться от всяких кликов, чтобы не обеспокоить занемогшую королеву. После этого они возвестили, что королева родила дочь. При этой вести сердца всех преисполнились радостью, особенно когда народ узнал, что, несмотря на преждевременные роды, жизнь матери и ребенка пока вне опасности. Около замка нельзя было шуметь, а всем хотелось как-то проявить свою радость, поэтому народ начал растекаться по улицам, ведущим к рынку. Когда эти улицы наполнились толпами народа, раздались вдруг песни и радостные клики. «Разве худо было, – говорили в народе, – что у короля Людовика не было сыновей и наследницей престола стала Ядвига? Благодаря ее браку с Ягайлом государство стало вдвое могущественней. Так будет и теперь. Где сыщешь такую наследницу, какой станет наша королевна, – ведь ни римский император, ни прочие короли не владеют такой великой державой, такими обширными землями и таким многочисленным рыцарством! Самые могущественные монархи будут добиваться ее руки, будут приезжать на поклон к королю и королеве, будут съезжаться в Краков, а нам, купцам, от этого выгода будет, не говоря уж о том, что какое-нибудь новое государство, чешское или венгерское, соединится с нашим королевством». Так рассуждали купцы, и все ликовало вокруг. Народ пировал и по домам, и в корчмах. На рынке запыхали факелы и фонари. Из окрестных деревень в город съезжалось все больше крестьян, они располагались в предместьях лагерем вокруг своих телег. Евреи шумели около синагоги на Казимеже⁴³. До поздней ночи, чуть не до рассвета, рынок, как во время ярмарки, кипел толпами народа, особенно около ратуши и весов. Люди делились новостями, посылали разузнать, не случилось ли еще чего-нибудь в замке, и осаждали тех, кто возвращался оттуда.

Хуже всего было то, что архиепископ Петр в ту же ночь окрестил новорожденную⁴⁴, из чего заключили, что девочка очень слаба. Однако опытные горожанки рассказывали случаи, когда младенцы, родившиеся полумертвыми, обретали жизненные силы после крещения. Народ верил, что новорожденная выживет, возлагая особые надежды на имя, которым ее нарекли. Говорили, будто ни один Бонифаций, ни одна Бонифация не могут умереть сразу же

⁴³ *Казимеж* – в древности пристольный городок, ныне район Кракова.

⁴⁴ *...окрестил новорожденную...* – Ее называли Эльжбетой-Бонифацией; первое имя – в честь Елизаветы Боснийской, матери королевы Ядвиги.

после рождения, ибо им предназначено свершить доброе дело; в первые же годы жизни, а тем более в первые месяцы, ничего ни доброго, ни худого младенец свершить не может.

Однако на другой день и о младенце, и о матери пришли из замка худые вести – и взволновали город. В костелах, как в храмовый праздник, весь день толпился народ. Жертвовали на службы за здоровье королевы и королевны. С волнением смотрели все на бедных крестьян, которые приносили четверти зерна, ягнят, кур, связки сушеных грибов или короба орехов. Крупные пожертвования потекли от рыцарей, купцов, ремесленников. Были разосланы гонцы в святые места. Звездочеты гадали по звездам. В самом Кракове были устроены торжественные процессии. Выступили все цехи и все братства. Весь город украсился знаменами. Состоялась также процессия детей, ибо все полагали, что невинные дети скорее могут испросить у Бога милость. Через городские ворота въезжали все новые и новые толпы людей.

Так проходил день за днем в церковных процессиях и молебствиях, под непрерывный колокольный звон и гул голосов в костелах. Но когда миновала неделя, а царственная больная и младенец были все еще живы, надежда снова стала просыпаться в сердцах. Казалось невероятным, чтобы Господь преждевременно призвал к себе властительницу государства, которая, столько свершив, должна была оставить незаконченным великий свой подвиг, жену равноапостольную, которая, пожертвовав собственным счастьем, обратила в христианство последний языческий народ в Европе. Ученые вспоминали, сколько сделала она для Академии, духовные – для славы Господней, державные мужи – для мира между христианскими монархами, законники – для справедливости, сирые – для нищеты, и никто не мог себе представить, что жизнь, столь необходимая королевству и всему миру, может безвременно оборваться.

Меж тем тринадцатого июля погребальный звон возвестил о смерти младенца. Снова зашумел город, тревога вселилась в сердца, и снова толпы народа окружили Вавель, допытываясь о здоровье королевы. Но на этот раз никто не вышел к народу с добрыми вестями. Лица вельмож, въезжавших в замок или выезжавших через ворота в город, были угрюмы и с каждым днем становились все темней и темней. Говорили, будто ксендз Станислав из Скарбимежа⁴⁵, магистр свободных наук в Кракове, не отходит уже от одра королевы, которая причащается каждый день. Говорили также, будто после причащения покой ее всякий раз озаряется небесным сиянием. Некоторые видели даже сияние в окнах, но видение это лишь потрясло преданные королеве сердца как знак того, что для нее начинается уже загробная жизнь.

Иные, однако, не верили, что может случиться нечто столь страшное, они тешили себя надеждой, что справедливое небо удовлетворится одною жертвой. Меж тем в пятницу утром, семнадцатого июля, грянула весть, что королева при смерти. Все поспешили к замку. Город совсем опустел, остались одни калеки, даже матери с грудными младенцами поторопились к воротам замка. Лавки были закрыты, люди не готовили пищу. Все дела были оставлены, а под стенами Вавеля темнело море народа – беспокойное, потрясенное, но безмолвствующее.

И вдруг в час дня на колокольне кафедрального собора ударил колокол. Сперва никто не понял, что это значит, но потом волосы у людей встали от ужаса дыбом. Все головы, все глаза обратились к колокольне, где шире и шире раскачивался колокол, чей жалобный стон тотчас подхватили другие колокола: у францисканцев, у Святой Троицы, у Девы Марии – и дальше и дальше по всему городу. Народ понял наконец, что означает этот стон; и такой ужас объял всех, такая пронизала боль, словно медные языки колоколов били прямо по сердцу людям.

Вдруг на колокольне показалась черная хоругвь с огромным черепом посередине, под которым белели две скрещенные берцовые кости. Все стало ясно. Королева отдала Богу душу.

Рыдания и стоны тысяч людей раздались у стен замка и слились с погребальным звоном колоколов. В толпе одни бросались на землю, другие раздирали на себе одежды или царапали

⁴⁵ Станислав из Скарбимежа (из Скальбмежа, 1360—1431) – юрист и философ, первый ректор Краковской академии после ее реорганизации.

лица, иные в немом оцепенении смотрели на стены, иные же глухо стонали или, простирая руки к костелу и покоям королевы, молили Бога о чуде, о милосердии. Но некоторые в порыве отчаяния доходили даже до кощунства. «Бог отнял у нас любимую королеву, – слышались их гневные голоса. – К чему же были процессии, наши песнопения и мольбы? Серебро и золото было угодно Богу, а что же Он дал взамен? Ничего! Взять – взял, а дать – не дал!» Другие, заливаясь слезами, повторяли со стоном: «Иисусе Христе! Иисусе!» Толпы людей хотели войти в замок, чтобы еще раз взглянуть на лицо любимой королевы. Их не пустили, пообещав, что тело вскоре поставят в костеле, и тогда всякий сможет взглянуть на усопшую и помолиться у ее гроба. К вечеру печальные толпы людей стали возвращаться в город; народ рассказывал о последних минутах королевы, о предстоящем погребении и о чудесах, которые будут совершаться у ее тела и гробницы, в чем все были совершенно уверены. Говорили также о том, что королеву сразу же причислят к лику святых, когда же некоторые усомнились в этом, другие вознегодовали и стали грозить им Авиньоном...

Печаль и уныние объяли весь город, всю страну, и не только простому народу, всем казалось, что со смертью королевы закатилась счастливая звезда королевства. Даже кое-кто из краковской знати мрачно глядел на будущее. Люди задавались вопросом: что же теперь будет? Имеет ли право Ягайло оставаться после смерти королевы на престоле, не вернется ли он в свою Литву и не останется ли только великим князем литовским? Некоторые предвидели, что он сам захочет отречься от престола и тогда от королевства отойдут обширные земли, снова начнутся набеги Литвы, на которые кровавыми ударами ответят разъяренные жители королевства. Усилятся орден, усилятся римский император и венгерский король, а королевство, доселе одно из самых могущественных в мире, будут ждать упадок и посрамление.

Купцы, для которых были открыты обширные литовские и русские земли, предвидя потери, давали Богу обеты, чтобы только Ягайло остался на королевском троне; но в этом случае в самом ближайшем времени надо было ждать войны с орденом. Все знали, что только одна королева не давала развязать эту войну. Люди вспоминали теперь, как, возмущенная алчностью и хищностью крестоносцев, она сказала им однажды в пророческом ясновидении: «Пока я жива, я удерживаю руку и справедливый гнев моего супруга; но помните, что после моей смерти кара обрушится на вас за ваши грехи!»

В своей гордыне и ослеплении крестоносцы и в самом деле не боялись войны, полагая, что после смерти королевы рассеется ореол святости, которым она была окружена, никто не станет более препятствовать наплыву охотников из западных государств, и тогда на помощь ордену придут тысячи воинов из Германии, Бургундии, Франции и других, еще более отдаленных стран. Однако смерть Ядвиги была событием столь значительным, что посол крестоносцев Лихтенштейн, даже не дождавшись приезда короля, поторопился в Мальборк, чтобы немедленно сообщить великому магистру и капитулу важную и в какой-то степени грозную весть.

Послы венгерский, австрийский, императорский и чешский либо выехали вслед за Лихтенштейном, либо послали к своим монархам гонцов. Ягайло приехал в Краков в страшном отчаянии. В первую минуту он заявил вельможам, что не хочет править без королевы и уедет в свои владения в Литву, но затем от горя будто бы впал в оцепенение, не хотел заниматься делами, не отвечал на вопросы, а по временам горько упрекал себя за то, что уехал, что не присутствовал при кончине королевы, что не простился с нею и не слышал ее последних слов и заветов. Тщетно Станислав из Скарбимежа и епископ Вышн толковали ему, что королева занемогла внезапно и что по всем расчетам он успел бы вернуться, если бы роды не были преждевременными. Это не принесло ему ни утешения, ни облегчения. «Я без нее не король, – ответил он епископу, – но лишь кающийся грешник, которому не найти успокоения». После этого он уставился глазами в землю, и никто не мог добиться от него ни единого слова.

Тем временем умы всех людей были заняты погребением королевы. Со всех концов страны стали стекаться в столицу новые толпы знати, шляхты и простого народа, особенно

нищеты, надеявшейся на щедрую милостыню во все время обряда погребения, который должен был длиться целый месяц. Тело королевы поставили в кафедральном соборе на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок, где покоилась голова усопшей, был гораздо выше изножья. Это было сделано для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе шла непрерывная служба; около катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этого блеска, утопая в цветах, лежала она, спокойная, улыбающаяся, подобная таинственной белой розе, в одежде небесного цвета, с руками, сложенными крестом на груди. Народ почитал ее за святую, к ней приводили одержимых, калек, больных детей, и в храме то и дело раздавался то крик матери, увидевшей на личике больного младенца вестник здоровья – румянец, то паралитика, внезапно обнаружившего, что он владеет своими доселе неподвижными членами. Трепет охватывал тогда людские сердца, весть о чуде облетала собор, замок, город, привлекая все большие толпы бедняков, которые только от чуда могли ждать спасения.

Все в это время совершенно забыли о Збышке, да и кто в столь тяжкую годину мог вспомнить о простом шляхетском хлопце, заключенном в башне замка! Однако от тюремной стражи Збышко знал о болезни королевы и слышал шум народных толп около замка; когда же он услышал рыдания и колокольный звон, то бросился на колени и, позабыв о собственной участи, стал оплакивать смерть обожаемой своей королевы. Ему казалось, что вместе с нею и для него угасла надежда и что после ее смерти не стоит жить на свете.

Отголоски погребения, колокольный звон, церковные песнопения и рыдания толпы доносились до него в течение целых недель. За это время он стал угрюм, потерял аппетит и сон и метался по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. Его угнетало одиночество, – бывали дни, когда даже страж не приносил ему свежей пищи и воды, настолько все были заняты похоронами королевы. Со времени ее смерти никто не посетил его: ни княгиня, ни Дануся, ни Повала из Тачева, который раньше принимал такое живое участие в его судьбе, ни знакомый Мацько, купец Амылей. С горечью думал Збышко, что, с тех пор как уехал Мацько, все о нем забыли. Порой ему приходило в голову, что, быть может, о нем забыло и правосудие и что его сгноят в этой темнице. Тогда он молил Бога о смерти.

Когда же миновал месяц после похорон королевы и начался другой, Збышко стал сомневаться в том, что Мацько вернется. Ведь старик обещал торопиться, не жалеть коня. Мальборк не на краю света. За двенадцать недель можно было обернуться, особенно в такой крайней нужде. «А может, ему и нужды нет! – думал с горечью Збышко. – Может, он где-нибудь по дороге приглядел себе жену и с радостью повезет ее в Богданец, чтобы дожидаться собственных детей, а я тут век целый буду ждать, покуда надо мною сжалится Бог!»

В конце концов он потерял представление о времени, совершенно перестал разговаривать с тюремным стражем и только по паутине, которая все гуще опутывала железную решетку окна, догадывался, что на воле наступает осень. По целым часам сидел он теперь на постели, опершись локтями на колени и схватившись руками за волосы, которые спускались уже у него много ниже плеч, и в полудремоте, полуоцепенении не поднимал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося еду. Но вот однажды скрипнул засов, и знакомый голос крикнул с порога темницы:

– Збышко!

– Дядя! – воскликнул Збышко, срываясь с постели.

Мацько обнял его, охватил руками его светлую голову и стал осыпать ее поцелуями. Сожаление, горечь и тоска с такой силой охватили хлопца, что он заплакал на груди у дяди, как малое дитя.

– Я думал, что вы уж не воротитесь, – сказал он, рыдая.

– Так оно и могло статься, – ответил Мацько.

Только теперь Збышко поднял голову и, взглянув на дядю, воскликнул:

– Да что же это с вами стряслось?

И он в изумлении воззрился на изнуренное, осунувшееся и бледное как полотно лицо старого воина, на его сгорбленную спину и поседелые волосы.

– Что с вами? – повторил Збышко.

Мацько опустился на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

– Что стряслось? – сказал он наконец. – Не успел я переехать границу, как меня в бору подстрелили из самострела немцы. Разбойники-рыцари, знаешь? Мне все еще трудно дышать... Бог послал мне помощь, иначе ты б меня больше не увидел.

– Кто же вас спас?

– Юранд из Спыхова, – ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание.

– Они напали на меня, а спустя полдня он напал на них. Не больше половины ушло из его рук. Он взял меня в свой городок, и там я три недели боролся со смертью. Бог меня спас, и хоть мне еще худо, я воротился.

– Так вы не были в Мальборке?

– С чем же мне было ехать? Они вчистую обообрали меня и вместе с другими вещами забрали и письмо. Я воротился, чтобы попросить у княгини Александры другое письмо, но в дороге разминулся с нею и не знаю, удастся ли мне догнать ее, потому приходится мне на тот свет собираться.

При этих словах он плюнул себе в ладонь и, протянув Збышку руку, показал чистую кровь:

– Вот видишь?

И, помолчав, прибавил:

– Видно, на то воля Божья.

С минуту времени они молчали под тяжестью черных дум, после чего Збышко спросил:

– Так это вы все время плюете кровью?

– Как же мне не плевать, коли у меня между ребрами на полпяди вонзилось жало стрелы! Небось и ты бы плевал. У Юранда из Спыхова мне стало полегче, а нынче я опять страх как измучился – дорога-то дальняя, а я торопился.

– Эх! Зачем же было вам торопиться?

– Да ведь я хотел встретить княгиню Александру и взять у нее другое послание. А Юранд из Спыхова так мне и сказал: «Поезжайте, говорит, и возвращайтесь с письмом в Спыхов. У меня, говорит, в подземелье сидит несколько человек немцев, так я одного из них отпущу на рыцарское слово, он и отвезет письмо великому магистру». Этот Юранд из мести за гибель жены всегда несколько человек держит у себя в подземелье; ожесточился он и с радостью слушает, как они по ночам стонут и гремят цепями. Понимаешь?

– Понимаю. Только вот странно мне, что вы первое письмо потеряли, – раз Юранд захватил тех, которые на вас напали, так ведь письмо должно было быть при них.

– Он их не всех захватил. Человек пять ушли из его рук. Такая уж наша участь.

При этих словах Мацько опять откашлялся, опять плюнул кровью и тихо застонал от боли в груди.

– Здорово они вас подстрелили, – сказал Збышко. – Как же это они? Из засады?

– Из таких густых кустов, что за шаг ничего не было видно. Ехал я без брони, – купцы говорили мне, что там безопасно, да и жарко было.

– Кто же предводительствовал этими разбойниками? Крестоносец?

– Не монах, ну а все-таки немец, хелминский, из Ленца, он прославился грабежом и разбоем.

– Что же с ним случилось?

– Сидит на цепи у Юранда. Но в подземелье у этого немца тоже сидят два мазурских шляхтича, которых он хочет отдать в обмен за себя.

Снова воцарилось молчание.

– Господи Иисусе, – сказал наконец Збышко, – так и Лихтенштейн будет жив, и этот немец из Ленца, а нам придется погибать неотомщенными. Мне отрубят голову, вы, верно, и зиму не протянете.

– Какое там! И до зимы не дотяну. Если бы хоть тебя как-нибудь спасти...

– Вы кого-нибудь здесь видали?

– Я как узнал, что Лихтенштейн уехал, пошел к краковскому каштеляну, думал, он облегчит твою участь.

– Так Лихтенштейн уехал?

– Сразу же после смерти королевы, в Мальборк. Пошел я к каштеляну, а он мне говорит: «Не для того рубят голову вашему племяннику, чтоб угодить Лихтенштейну, а для того, что к казни его приговорили, и тут ли Лихтенштейн, нет ли его – это все едино. Умри крестоносец, и то ничего не переменится, потому, говорит, закон свят, это вам не кафтан, его наизнанку не выворотишь. Только король, говорит, может вашего племянника помиловать, а больше никто».

– А где же король?

– После похорон уехал на Русь.

– Ну, значит, ничего не поделаешь.

– Ничего. Каштелян сказал еще мне: «Жаль его, да и княгиня Анна просит, но не могу, никак не могу».

– А княгиня Анна еще здесь?

– Спасибо ей! Хорошая женщина. Она еще здесь, потому что Дануся заболела, а княгиня любит ее, как родную дочь.

– Ах ты Боже мой! Так и Дануся захворала. Что же с нею такое?

– Да разве я знаю?.. Княгиня говорит, будто сглазили.

– Это, верно, Лихтенштейн! Не кто иной, как Лихтенштейн.

– Может, и он. Да ведь что с ним поделаешь? Ничего.

– Так это потому меня все забыли, что она была больна...

Збышко стал широким шагом расхаживать по темнице, затем схватил и поцеловал руку Мацька и сказал:

– Да вознаградит вас Бог за все, что вы сделали, – ведь это вы из-за меня умрете, но уж раз вы до самой Пруссии добрались, так, пока еще совсем не свалились, сослужите мне еще одну службу. Сходите к каштеляну и попросите его, чтоб на рыцарское слово отпустил меня, ну хоть на двенадцать недель. Я вернусь, и тогда пусть уж рубят мне голову, а так ведь нельзя погибать нам, не отомстивши. Знаете... я поеду в Мальборк и тотчас pošлю вызов Лихтенштейну. Иначе никак нельзя. Либо он умрет, либо я!

Мацько потер лоб:

– Сходить-то я схожу, да только позволит ли каштелян?

– Я дам рыцарское слово. На двенадцать недель, больше мне не надо.

– Что там говорить: на двенадцать недель! А если тебя ранят и ты не вернешься, что тогда подумают?..

– Хоть на четвереньках приползу. Не бойтесь! А тем временем, может, король вернется из Руси; тогда можно будет упасть к его ногам и просить о помиловании.

– Это верно, – сказал Мацько.

Однако, помолчав, он прибавил:

– Мне ведь каштелян вот что еще сказал: «Мы о вашем племяннике из-за смерти королевы забыли, а теперь надо уж кончать с этим делом».

– Да нет, он позволит! – с надеждой сказал Збышко. – Он ведь знает, что шляхтич сдержит слово, а сейчас ли мне голову рубить или после Михайлова дня, это ему все едино.

– Что ж! Еще сегодня схожу.

– Сегодня вы подите к Амылею и немножко отлежитесь. Пусть он вам какого-нибудь снадобья к ране приложит, а завтра сходите к каштеляну.

– Ну, с Богом!

– С Богом!

Они обнялись, и Мацько направился к выходу, однако на пороге остановился и наморщил лоб, точно что-то вдруг вспомнив:

– Да ведь ты еще не носишь рыцарского пояса! Лихтенштейн скажет, что с непооясанным драться не станет, – что ты с ним тогда поделаешь?

Збышко смутился, однако только на одно короткое мгновение.

– А как же на войне бывает? – спросил он. – Разве опоясанный непременно выбирает опоясанных?

– Война – это война, а поединок – это совсем другое дело.

– Так-то оно так... однако погодите... Надо как-нибудь это дело уладить. Да вот... есть выход! Князь Януш меня опояшет. Если княгиня с Дануськой его попросит, он опояшет. А по дороге я еще буду драться в Мазовии с сыном Миколая из Длуголяса.

– Это из-за чего же?

– Миколай – вы его знаете, тот придворный княгини, которого зовут Обухом, – обозвал Данусю коротышкой.

Мацько воззрился на него в изумлении, а Збышко, желая, видно, получше растолковать ему, в чем дело, продолжал:

– Я этого тоже не могу простить, а ведь с Миколаем не приходится драться, ему уж, пожалуй, все восемьдесят.

– Послушай, парень! – воскликнул Мацько. – Жаль мне твоей головы, но ума твоего нисколько, потому что глуп ты как пень.

– Да чего же вы сердитесь?

Мацько ничего не ответил и хотел уж уйти, но Збышко подбежал к нему:

– А как Дануська? Выздоровела? Да не сердитесь вы по пустякам. Ведь вас столько времени не было.

И он снова склонился к руке старика; тот пожал плечами, но уже мягче ответил:

– Дануська уже выздоровела, только ее еще не выпускают на улицу. Будь здоров.

Збышко остался один, он словно воспрянул духом. Так приятно было подумать, что впереди еще добрых три месяца жизни, что он поедет в дальние края, разыщет Лихтенштейна и будет драться с ним не на жизнь, а на смерть. При одной этой мысли радость наполнила грудь Збышка. Хорошо хоть двенадцать недель чувствовать под собой коня, ездить по белу свету, драться и знать, что не погибнешь, не отомстив за себя. А там – будь что будет, ведь у него еще пропасть времени! Из Руси может вернуться король и даровать ему жизнь, может вспыхнуть война, которую давно уже предсказывали, а нет, сам каштелян, увидев через три месяца победителя гордого Лихтенштейна, может сказать: «Ну, поезжай теперь с Богом!» Збышко понимал, что, кроме крестоносца, никто не питает к нему вражды и что сам суровый пан краковский не по доброй воле приговорил его к смертной казни.

Збышко не сомневался, что ему дадут эти три месяца, и надежда окрылила его. Он даже думал, что дадут больше, потому что старому пану из Тенчина и в голову не могло прийти, что шляхтич, поклявшись рыцарской честью, может не сдержать своего слова.

И когда на другой день под вечер в темницу пришел Мацько, Збышко от нетерпения просто не мог усидеть на месте – он тотчас бросился к старику с вопросом:

– Ну как, позволил?

Мацько от слабости не держался уже на ногах, он опустился на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

– Вот что сказал каштелян, – ответил он наконец. – «Коли надобно вам разделить землю или имущество, то на одну-две недели, не больше, под рыцарское слово я выпущу вашего племянника».

Збышко от изумления на некоторое время потерял дар речи.

– На две недели? – переспросил он через минуту. – Да ведь я за две недели и до границы не доскачу! Что же это такое?.. Разве вы не говорили каштеляну, зачем мне надо съездить в Мальборк?

– Не только я просил за тебя, но и княгиня Анна.

– И что же?

– Что? Старик сказал ей, что твоя голова не нужна ему и что ему самому жалко тебя. «Если бы, говорит, найти закон или хоть предлог, к которому можно было придраться, я б его совсем отпустил, а так не могу – и конец! Не будет, говорит, порядка в королевстве, коли люди станут обходить закон да по дружбе поблажки давать; я этого не сделаю даже для родича моего Топорчика, даже для родного брата». Такой тут народ, что не упросишь его, не умолишь. И еще сказал: «Нам нет нужды на крестоносцев оглядываться, но позорить себя в их глазах мы не можем. Что бы подумали они и их гости, которые съезжаются к ним со всего света, если б я шляхтича, осужденного на смерть, выпустил на волю для того, чтоб он поехал к ним драться? Да разве они поверили бы, что его все равно настигнет кара и что в нашем государстве есть какая-нибудь справедливость? Лучше мне отрубить одну голову, чем выставить на посмешище короля и королевство!» Княгиня на это сказала ему, что странная это справедливость, от которой даже родственница короля не может спасти человека, но старик ей ответил: «И сам король может даровать жизнь, но не творить беззаконие». Тут они заспорили, потому что княгиня очень разгневалась. «Тогда, – говорит она, – нечего гноить его в темнице!» – «Ладно, – отвечает ей каштелян, – завтра прикажу ставить на рынке помост». С тем они и расстались. Теперь тебя, беднягу, разве только Христос может спасти...

Воцарилось долгое молчание.

– Как же? – глухо сказал Збышко. – Значит, это уж скоро будет?

– Через два-три дня. Ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог. Повалился каштеляну в ноги, просил смиловаться, а он все свое твердит: «Найди закон или хоть предлог какой». А где я его найду? Был я у ксендза Станислава из Скарбимежа, хотел попросить напутствовать тебя, чтоб хоть слава была, что тебя тот же ксендз напутствовал, что и королеву. Да дома я его не застал, он был у княгини Анны.

– Уж не у Дануськи ли?

– Да что ты! Девушке с каждым днем лучше. Поутру еще схожу к нему. Говорят, будто после его напутствия спасение, почитай, у тебя в кармане.

Збышко сел, оперся локтями на колени и так низко склонил голову, что волосы совсем закрыли ему лицо. Долго-долго смотрел на него старик, потом потихоньку окликнул:

– Збышко! Збышко!

Хлопец поднял голову, лицо его выражало не страдание, а скорее раздражение и холодную решимость.

– Что вам?

– Слушай-ка меня хорошенько, сдастся, я придумал.

С этими словами старик пододвинулся к племяннику и заговорил чуть не шепотом:

– Ты, верно, слышал про князя Витовта, про то, как наш король заключил его когда-то в Креве в темницу, а он вышел оттуда в женском платье? Ни одна женщина тут за тебя не останется, а ты возьми вот мой кафтан, возьми шапку да и уходи – понял? А вдруг и впрямь не заметят. Ведь за дверью темно. В глаза тебе светить не станут. Вчера вон, как я выходил, никто на меня и не глянул. Молчи и слушай: найдут меня завтра – ну и что же? Отрубят мне голову? То-то потешатся, мне ведь через две-три недели все равно помирать. А ты, как вый-

дешь отсюда, садись на коня и скачи прямо к князю Витовту. Напомни ему о себе, поклонись, и он примет тебя, и будет тебе у него как у Христа за пазухой. Болтает тут народ, будто татары истребили княжее войско. Кто его знает, может, так оно и есть, потому покойная королева это предсказывала. Коли верно это, так князю и вовсе нужны будут рыцари, и он тебя с радостью встретит. Ты же держись его, потому нет на свете лучше службы, как у него. Другой король проиграет войну, и тут ему конец, а князь Витовт так изворотлив, что проиграет войну и становится еще могущественней. И щедр он, да и наших очень любит. Расскажи ему все, как было. Скажи, что хотел идти с ним на татар, да не мог, в темнице сидел. Бог даст, одарит он тебя землей, мужиками, и в рыцари посвятит, и перед королем за тебя заступится. Хороший он покровитель – вот увидишь! Ну так как же?

Збышко слушал в молчании. А Мацько, словно вдохновившись собственными словами, продолжал:

– Не погибать тебе, молодому, а в Богданец надо вернуться. А воротишься, сразу женись, чтобы род наш не вымер. И только тогда, когда детей родишь, можешь вызвать Лихтенштейна на смертный бой, а до этого ни на ком не ищи мести, а то подстрелят тебя где-нибудь в Пруссии, как меня подстрелили, и тогда уж ничем не поможешь. Бери же кафтан, бери шапку – и бегом.

С этими словами Мацько встал и начал было раздеваться, но Збышко тоже поднялся, остановил его и сказал:

– Не сделаю я этого – истинный Бог, не сделаю.

– Это почему же? – спросил в удивлении Мацько.

– Да вот так, не сделаю, и конец.

Мацько даже побледнел от волнения и гнева.

– Лучше б тебе на свет не родиться.

– Вы уж говорили каштеляну, – сказал Збышко, – что отдадите свою голову за мою.

– Откуда ты это знаешь?

– Мне сказал пан из Тачева.

– Ну и что из этого?

– Что из этого? А то, что вам каштелян сказал: позор пал бы тогда и на меня и на весь наш род. А разве не зазорней было бы, когда б я бежал отсюда, а вас оставил здесь на расправу?

– На какую расправу? Что они мне сделают, коли я и так помру? Опомнись, на милость Божию!

– Тем паче. Да разразит меня Господь, коли я вас, старика больного, да оставлю здесь. Тьфу! Позор!..

Воцарилось молчание; слышно было только тяжелое хриплое дыхание Мацька да оклики лучников, стоявших на страже у ворот. На дворе уже спустилась темная ночь...

– Послушай, – произнес наконец Мацько прерывистым голосом, – не зазорно было князю Витовту бежать так из Крева, не зазорно будет и тебе...

– Эх! – с грустью сказал Збышко – Вы же знаете! Князь Витовт – он ведь великий князь, он корону получил из королевских рук, у него богатство и власть – а я бедный шляхтич, нет у меня ничего, одна только честь...

Через минуту он воскликнул, словно охваченный внезапным гневом:

– А того вы не хотите понять, что я тоже вас люблю и не отдам вашу голову за свою?

Тут Мацько поднялся, пошатываясь протянул руки и, хоть люди в те времена были тверды душой, словно выкованы из железа, крикнул вдруг раздирающим душу голосом:

– Збышко!..

А на другой день судебские служки стали свозить на рынок бревна для помоста, который должны были воздвигнуть против главного входа в ратушу.

Однако княгиня все еще советовалась с Войцехом Ястжембцем, Станиславом из Скарби-межа и другими учеными канониками, искушенными как в писаных, так и неписаных законах.

Ее побудили к этому слова каштеляна, который заявил, что, если ему найдут «закон или хоть предлог какой», он немедленно освободит Збышка. Совет держали подолгу, стараясь изыскать какое-нибудь средство спасения, и ксендз Станислав, даже напутствовав Збышка и в последний раз причастив его, прямо из подземелья вернулся еще раз на совет, который затянулся чуть не до рассвета.

Тем временем наступил день казни. С утра толпы народа потекли на рынок, так как поглазеть на отрубленную голову шляхтича было куда любопытнее, нежели на голову простолюдина, да и погода стояла чудесная. А тут еще среди женщин разнесся слух о молодости и необычайной красоте осужденного, так что вся дорога к замку запестрела, словно цветами, целыми толпами разряженных горожанок; на рынке, в окнах, выходящих на площадь, и на балконах тоже виднелись чепцы, золотые и бархатные повязки или непокрытые головы девушек, украшенные только венками из лилий и роз. Городские советники, хотя все это дело их, собственно говоря, не касалось, вышли для пущей важности все на площадь и стали позади рыцарей, которые, желая выказать свое сочувствие Збышку, толпой стояли у самого помоста. За ними пестрела толпа мелких купцов и ремесленников в одеждах своих цехов. Школяры и ребятишки, которых народ оттеснял назад, как назойливые мухи вертелись в толпе, пролезая вперед всюду, где только было возможно. Над всей этой массой человеческих голов высился покрытый новым сукном помост, на котором стояли три человека: палач, широкоплечий, страшный немец, в красном кафтане и таком же колпаке, с тяжелым обоюдоострым мечом в руке, и два его помощника с обнаженными руками и веревками за поясом. У ног их стояли плаха и гроб, тоже обитый сукном. На колокольне костела Девы Марии звонили колокола, наполняя город медными звуками и спугивая стаи галок и голубей. Толпа то смотрела на дорогу, ведущую к замку, то на помост и палача с мечом в руке, сверкавшим в сиянии солнечных лучей, то, наконец, на рыцарей, на которых горожане всегда глазели с особенным любопытством и почтением. Да и было на что поглазеть в этот раз – самые прославленные рыцари выстроились четырехугольником у помоста. Народ дивился на широкие плечи и осанку Завиши Чарного, на его кудри цвета воронова крыла, разметававшиеся по плечам, дивился на приземистую квадратную фигуру и ноги колесом Зындрама из Машковиц, и на великанский, прямо нечеловеческий рост Пашка Злодзеля из Бискупиц, и на грозное лицо Бартоша из Водзинка, и на красоту Добка из Олесницы, который в Торуне одолел на ристалище двенадцать немецких рыцарей, и на Зигмунта из Бобовой, который точно так же прославился на ристалище с венграми в Кошицах, и на Кшона из Козихглов, и на страшного в рукопашном бою Лиса из Тарговиска, и на Сташка из Харбимовиц, который мог догнать скачущего коня. Общее внимание привлек также Мацько из Богданца; старик был бледен, его поддерживали Флориан из Корытницы и Марцин из Вроцимовиц. Все думали, что это отец осужденного.

Однако самое большое любопытство возбуждал Повала из Тачева, который, стоя в первом ряду, держал на могучих руках Данусю во всем белом, с веночком из зеленой руты на светлых волосах. Народ не понимал, что это значит и зачем этой девочке в белом смотреть на казнь. Одни говорили, что это сестра, другие полагали, что возлюбленная молодого рыцаря, но и они не могли объяснить, почему она в таком наряде и зачем явилась сюда. Сострадание и жалость пробудило у всех ее личико, румяное как яблочко, но все залитое слезами. По густой толпе пробежал ропот, народ негодовал на неумолимого каштеляна, на суровый закон; ропот, нарастая, обратился в грозный гул, раздались даже голоса, что надо снести помост и казнь тогда будет отложена.

Толпа оживилась, заволновалась. Народ заговорил о том, что, будь король в Кракове, он, без сомнения, помиловал бы юношу, который, как уверяли, не совершил никакого преступления.

Все стихло, однако, когда далекие клики возвестили о приближении королевских лучников и алебардников, которые вели осужденного. Вскоре шествие показалось на рыночной

площади. Его открывало похоронное братство; погребальщики шли в черных, до самой земли плащах, черные наголовники с прорезями для глаз закрывали им все лицо. Народ боялся этих мрачных фигур и смолк при их появлении. За ними выступал отряд лучников из отборных литвинов, одетых в кафтаны из сыромятной лосиной кожи. Это был отряд королевской гвардии. В хвосте шествия виднелись алебарды другого отряда, а посередине, между судебным писцом, который должен был огласить приговор, и ксендзом Станиславом из Скарбимежа, несшим распятие, шел Збышко.

Все взоры обратились теперь на него, женщины высунулись из всех окон, перегнулись через перила балконов. Збышко шел в своем добытом в бою белом полукафтоне, расшитом золотыми грифами с золотой оторочкой понизу, и в этом великолепном наряде казался принцем или юношей из знатного дома. По росту, по плечам, обтянутым полукафтаном, по сильным ляжкам и широкой груди его можно было принять за зрелого мужа, но голова у него была детская и лицо юное, прекрасное, с первым пушком на верхней губе, лицо королевского пажа, с золотыми кудрями до плеч, ровно подрезанными над бровями. Он шел ровным, упругим шагом, но лицо его было бледно. Порою словно сквозь сон глядел он на толпу, порою поднимал глаза к колокольне, к стаям галок и колоколам, которые, раскачиваясь, вызванивали ему смертный час, порою же на лице его изображалось как бы изумление: неужели и этот звон, и рыдания женщин, и торжество – все это ради него? На рынке Збышко еще издали увидел наконец помост и на нем красный силуэт палача. Он вздрогнул и перекрестился, ксендз в ту же минуту дал ему приложиться к кресту. Юноша сделал еще несколько шагов, и к ногам его упал букетик васильков, брошенный из толпы молодой девушкой, Збышко наклонился и, подняв его, улыбнулся девушке, которая громко заплакала. Но, видно, он решил, что на глазах у толпы, на глазах у женщин, махавших из окон платками, надо мужественно встретить смерть и оставить по крайней мере память о себе как о «храбром молодце», – он собрал поэтому все свое мужество, всю силу воли и, внезапным движением откинув кудри назад, еще выше поднял голову и шел гордо, как победитель после рыцарских ристалищ, когда его ведут за наградой. Однако шествие подвигалось медленно, так как толпа становилась все гуще и неохотно перед ним расступалась. Тщетно литовские лучники, шедшие в первом ряду, кричали: «Eyk szalin! Eyk szalin!» («Прочь с дороги!») Люди не желали догадываться, что значат эти слова, и все больше теснились кругом. Хотя в те времена среди краковских горожан две трети составляли немцы, однако вокруг раздавались грозные проклятия крестоносцам: «Позор! Позор! Чтob они пропали, тевтонские псы, из-за них должны на плахе погибать наши дети! Позор королю и королевству!» Натолкнувшись на сопротивление, литвины сняли с плеч натянутые самострелы и стали исподлобья поглядывать на людей, не осмеливаясь, однако, без приказа стрелять по толпе. Капитан послал тогда вперед алебардников, которым легче было проложить алебардами дорогу, и шествие приблизилось таким образом к рыцарям, которые стояли четырехугольником у помоста.

Рыцари расступились без сопротивления. Первыми на помост взошли алебардники, за ними последовал Збышко с ксендзом и писцом. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Из рядов рыцарей выступил вдруг Повала с Данусей на руках и крикнул: «Стой!» – таким громовым голосом, что все мгновенно стали как вкопанные. Ни капитан, ни солдаты не хотели оказывать сопротивление вельможному пану и опоясанному рыцарю, которого каждый день видели в замке, нередко за доверительной беседой с королем. К тому же и другие, не менее прославленные рыцари тоже стали повелительно кричать: «Стой, стой!» Пан из Тачева приблизился к Збышку и передал ему одетую в белое Данусю.

Думая, что это он должен проститься с Данусей, Збышко схватил ее в объятия и прижал к груди; но Дануся, вместо того чтобы прильнуть к нему и обвить ручонками его шею, поспешно выдернула из-под рутового венка и сорвала со своих светлых волос белое покрывало, окутала им всю голову Збышка и сквозь слезы изо всей силы выкрикнула детским своим голоском:

– Он мой! Он мой!

– Он ее! – подхватили могучие голоса рыцарей. – К каштеляну!

Им ответил громоподобный крик народа: «К каштеляну! К каштеляну!» Исповедник поднял глаза к небу, судебный писец растерялся, капитан и алебардники опустили оружие, ибо все поняли, что произошло.

Искони существовал такой польский, вернее, общеславянский обычай, почитавшийся крепче закона и известный на Подгалье, в Краковском воеводстве и в других краях; когда юношу вели на казнь, невинная девушка могла набросить на него покрывало в знак того, что хочет выйти за него замуж: тем самым она спасала осужденного от смерти и наказания. Этот обычай знали рыцари, знали крестьяне, знал городской люд; о том, как он крепок, слышали и немцы, с давних времен поселившиеся в польских городах и замках. Мацько, как увидел всю эту картину, даже как-то ослаб от волнения; рыцари, тотчас отстранив лучников, окружили Збышка и Данусю, а взволнованный и обрадованный народ все громче и громче кричал: «К каштеляну! К каштеляну!» Толпа народу, словно могучая морская волна, хлынула вдруг к помосту. Палач и его помощники поспешно сбежали вниз. Началось замешательство. Всем стало ясно, что, если Ясько из Тенчина решит пойти против освященного веками обычая, в городе вспыхнет грозное волнение. Народ лавиной ринулся на помост. В мгновение ока было сорвано и изодрано в клочья сукно, затем под сильными руками и под ударами топоров заходили, затрещали и разлетелись в щепки бревна и доски, и вскоре на рыночной площади от помоста не осталось и следа.

А Збышко, все еще держа Данусю на руках, возвращался в замок, но на этот раз как подлинный победитель, как триумфатор. Рядом с ним шли с сияющими лицами первые рыцари королевства, а по обе стороны от них, впереди и позади толпились тысячи женщин, мужчин и детей; они неистово кричали и пели, протягивали к Данусе руки и прославляли мужество и красоту жениха и невесты. В окнах богатые горожанки рукоплескали чете, и глаза у всех были залиты слезами счастья. Венки из лилий и роз, ленты и даже парчовые повязки дождем падали к ногам счастливого юноши, а он, сияя, как солнце, с сердцем, переполненным благодарностью, то и дело поднимал вверх свою белую панну, целовал ей в восторге порою колени; юные горожанки, умилившись при виде этого, бросались в объятия своих возлюбленных и заверяли их, что, случись с ними такая беда, они спасут их так же, как эта девушка спасла своего молодого рыцаря. Збышко и Дануся стали как бы возлюбленными детьми рыцарей, горожан и простого народа. Старый Мацько, которого все еще вели под руки Флориан из Корытницы и Марцин из Вроцимовиц, чуть не терял рассудок от радости и вместе с тем диву давался, как это ему не пришло в голову, что можно таким образом спасти племянника. Среди общего шума Повала из Тачева рассказывал рыцарям своим могучим голосом, как Войцех Ястжембец и Станислав из Скарбимежа, знатоки писаных законов и обычаев, додумались до этого способа спасения, вернее, вспомнили о нем на советах, которые держали с княгиней, а рыцари дивились его простоте и толковали между собой, что, верно, потому никто не помнит этого обычая, что в городе, населенном немцами, он давно уже вывелся.

Однако все зависело еще от каштеляна. Рыцари направились с народом в замок, где в отсутствие короля пребывал пан краковский, и судейский писец, ксендз Станислав из Скарбимежа, Завиша, Фарурей, Зындрам из Машковиц и Повала из Тачева тотчас пошли к каштеляну, чтобы представить ему, сколь крепок обычай, и напомнить его собственные слова, что, если найдется «закон или хоть предлог какой», он тотчас освободит осужденного. А мог ли закон быть лучше исконного обычая, которого никогда никто не преступал? Правда, пан из Тенчина возразил, что обычай этот более приличествует простонародью да подгальским разбойникам, нежели шляхте, но старик был слишком сведущ в законах, чтобы не признать за ним силу. Прикрывая рукой свою серебряную бороду, он при этом улыбался в усы и, видно,

тоже был рад. Кончилось тем, что он вышел на невысокое крыльцо в сопровождении княгини Анны Дануты, нескольких духовных лиц и рыцарей.

Увидев его, Збышко снова поднял вверх Данусю, а каштелян положил на ее золотые волосы свою дряхлую руку, минутку подержал, а затем добродушно и важно кивнул седой головой.

Все поняли этот знак, и стены замка сотряслись от приветственных кликов. «Помоги ему, Боже! Многая лета справедливому пану! Да здравствует и чинит суд и расправу над нами!» – слышалось со всех сторон. Затем раздались новые клики в честь Дануси и Збышка, а через минуту оба они, поднявшись на крыльцо, упали к ногам доброй княгини Анны Дануты, которой Збышко был обязан жизнью, потому что это она придумала с учеными, как спасти его, и научила Данусю, что ей надо делать.

– Да здравствует молодая чета! – воскликнул Повала из Тачева, увидев, что Дануся и Збышко повалились в ноги княгине.

– Да здравствует! – подхватили все остальные.

А седой каштелян обернулся к княгине и сказал:

– Что ж, княгиня, сейчас должно состояться обручение, так велит обычай.

– Обручение состоится сейчас, – сияя, ответила добрая княгиня, – но вести молодых к венцу и в опочивальню без родительского благословения Юранда из Спыхова я не позволю.

VII

Мацько и Збышко держали у купца Амылея совет, что делать дальше. Старый рыцарь ждал скорой смерти; о том, что дни его сочтены, говорил ему и сведущий в ранах францисканец отец Цыбек, и старик хотел вернуться в Богданец, чтобы быть погребенным рядом с прахом отцов на кладбище в Острове.⁴⁶

Однако не все его предки покоились в Острове. Обширен был некогда его род. Во время войн предки Мацька призывали друг друга кличем «Грады!» и, будучи обладателями герба Тупая Подкова, почитали себя выше тех шляхтичей, которые не имели права на герб. В тысяча триста тридцать первом году, в битве под Половцами, семьдесят четыре воина из Богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками, уцелел один только Войцех, по прозванию Тур, за которым король Владислав Локоток после разгрома немцев особой грамотой закрепил герб и земли Богданца. Кости всех прочих белели с той поры на половецких полях, а Войцех вернулся на родное пепелище лишь затем, чтобы увидеть полный упадок своего рода.

Пока мужи из Богданца гибли от немецких стрел, рыцари-разбойники из близлежащей Силезии напали на их родовое гнездо, сожгли его дотла, а жителей истребили или угнали в неволю, чтобы продать в отдаленные немецкие земли. Войцех остался один-одинешенек в уцелевшем от огня старом доме и стал владельцем обширных, но пустых земель, ранее принадлежавших всему его шляхетскому роду. Спустя пять лет он женился и, прижив двоих сыновей, Яська и Мацька, в лесу на охоте был убит туром.

Сыновья росли под опекой матери, Кахны из Спаленицы, которая в двух походах отомстила силезским немцам за старую обиду, а в третьем – сама сложила голову. Ясько, возмужав, женился на Ягенке из Моцажева, которая родила ему Збышка. Мацько остался холостяком и, насколько позволяли военные походы, присматривал за имением и племянником.

Но когда во время междоусобной войны Гжималитов и Наленчей в Богданце снова были сожжены все хаты, а крестьяне разогнаны, Мацько тщетно пытался один восстановить хозяйство. Пробившись попусту много лет, он в конце концов заложил земли своему родственнику аббату, а сам с маленьким еще Збышком двинулся на Литву воевать против немцев.

Однако он никогда не терял Богданца из виду. Да и на Литву отправился для того, чтобы захватить добычу и, вернувшись со временем домой, выкупить землю, заселить ее невольниками, отстроить городок и поселить в нем Збышка. И сейчас, после счастливого спасения юноши, он об одном этом и думал и об одном этом советовался с ним у купца Амылея.

Землю им было на что выкупить. Военная добыча, выкупы, которые они брали с захваченных в плен рыцарей, и дары Витовта составили немалое богатство. Особенно много принесла им битва не на жизнь, а на смерть с двумя фризскими рыцарями. Одни доспехи, которые они захватили у этих рыцарей, составляли по тем временам целое состояние, а кроме доспехов, им достались еще повозки, лошади, люди, одежда, деньги и все богатое воинское снаряжение. Многие из этой добычи приобрел теперь у них купец Амылей, в том числе две штуки отменного фландрского сукна, которое возили с собой запасливые и богатые фризцы. Мацько продал также свои добытые в бою дорогие доспехи, полагая, что смерть его близка и они ему уже не понадобятся. Бронник, купивший эти доспехи, на следующий день перепродал их Марцину из Вроцимовиц герба Пулкоза и получил большой барыш, так как броня миланских мастеров ценилась в те времена дороже всех прочих.

Збышку страх как жаль было этих доспехов.

– Ну а, Бог даст, поправитесь, – говорил он дяде, – где вы найдете тогда другие такие?

⁴⁶ Остров – Остров-Велькопольский (ныне Калишское воеводство).

– Там же, где и эти нашел, – отвечал Мацько, – на другом каком-нибудь немце. Но смерти мне уже не миновать. Жало расщепилось у меня между ребрами, и застрял осколок. Я все его нащупывал, хотел захватить ногтями и вытащить, но только еще больше загнал в середину. Теперь уж с ним ничего не поделаешь.

– Выпить бы вам чугунок-другой медвежьего сала!

– Да! Отец Цыбек тоже говорил, что хорошо было бы, – может, осколок как-нибудь и вылез бы. Да где же здесь сала достанешь? То ли дело в Богданце – взял секиру да присел на ночь под бортью!

– Вот и надо ехать в Богданец. Только вы смотрите в дороге у меня не помрите.

Старый Мацько растроганно посмотрел на племянника.

– Знаю я, куда тебя тянет: коли не ко двору князя Януша, так к Юранду в Спыхов, набег учинять на хелминских немцев.

– Что ж, отпираться не стану. Я бы с радостью поехал в Варшаву или в Цеханов с двором княгини, лишь бы только подольше побыть с Дануськой. Мне теперь без нее не жизнь, ведь она не только моя госпожа, но и моя любовь. Гляжу не нагляжусь я на нее, а как вздумаю только о ней, сердце занает в истоме. На край света пошел бы за нею, но сейчас я перед вами в долгу. Вы меня не покинули, и я вас не покину. В Богданец так в Богданец.

– Хороший ты хлопец, – сказал Мацько.

– Господь бы меня покарал, коли б я с вами не был хорош. Гляньте, уже запрягают. Я на одну телегу велел положить для вас сена. Дочка Амылея подарила нам отличную перину, только вот жарко вам будет, не знаю, уложите ли вы на ней. Мы поедем не торопясь, вместе с княгиней и ее свитой, чтобы было кому присмотреть за вами. Они потом свернут на Мазовию, а мы к себе – и помогай Бог!

– Пожить бы мне еще немного, чтоб успеть городок отстроить, – сказал Мацько, – я ведь тебя знаю: помру, ты не очень-то будешь думать о Богданце.

– Это почему же?

– В голове у тебя будут драки да любовь.

– А у вас в голове не была война? Я уж обо всем хорошенько подумал, что стану делать: перво-наперво поставим городок из крепкого дуба да велим его рвом обнести.

– Ты тоже так думаешь? – живо спросил Мацько. – Ну а как поставим городок, что тогда? Говори же!

– Как поставим городок, я тотчас поеду ко двору княгини в Варшаву или в Цеханов.

– После моей смерти?

– Ну, коли вы скоро помрете, так после вашей смерти, но только раньше тризну по вас справлю, а коли, Бог даст, выздоровеете, так вы останетесь в Богданце. Княгиня мне посулила, что князь опояшет меня рыцарским поясом. Иначе Лихтенштейн не захочет драться со мной.

– Так ты потом отправишься в Мальборк?

– В Мальборк ли, на край ли света, лишь бы только добыть Лихтенштейна.

– За это я не стану тебя попрекать. Либо ему, либо тебе на свете не жить!

– Уж я вам перчатку его и пояс привезу в Богданец, – это вы не сомневайтесь.

– Ты только бойся измены. Вероломный это народ.

– Я поклонюсь князю Янушу и попрошу послать меня к великому магистру за охранной грамотой. Нынче у нас мир. Я поеду за охранной грамотой в Мальборк, а там всегда гостит много рыцарей. Ну, вы сами понимаете, – сперва я возьмусь за Лихтенштейна, а там погляжу, у кого павлиньи чубы на шлемах, и стану по очереди тех вызывать. Боже ты мой! Да коли мне Христос поможет одолеть их, так ведь я и обет исполню.

Збышко улыбался при этом своим собственным мыслям, и лицо у него было совсем как у мальчика, который расписывает, какие рыцарские подвиги он совершит, когда вырастет.

– Эх! – сказал Мацько, качая головой. – Да кабы ты троих знатных рыцарей одолел, так не только обет бы исполнил, но и снаряжение у них захватил, да еще какое снаряжение – Боже ты мой!

– Что там троих! – воскликнул Збышко – Я еще в темнице сказал себе, что не пожалею для Дануси немцев. Не троих, а столько, сколько пальцев на обеих руках!

Мацько пожал плечами.

– Хотите верьте, хотите не верьте, – сказал Збышко, – а я из Мальборка поеду прямо к Юранду из Спыхова. Как же мне не явиться к нему на поклон, коли он отец Дануси? Мы с ним станем чинить набег на хелминских немцев. Вы ведь сами говорили, что он – гроза всех немцев, страшней его для них во всей Мазовии нету.

– А коли он не отдаст за тебя Дануську?

– И чего это ему не отдать ее! Он ищет мести за свою обиду, я – за свою. Кого же ему найти лучше меня? Уж раз княгиня разрешила отпраздновать обручение, так и он не станет противиться.

– Я только одно думаю, – сказал Мацько, – заберешь ты с собой всех людей из Богданца, чтоб и у тебя были слуги, как подобает рыцарю, а земля останется без рук. Покуда жив, не дам я тебе людей, ну а после моей смерти ты как пить дать их заберешь.

– Господь Бог пошлет мне слуг, да и Янко из Тульчи – родич наш, значит, не пожалеет.

В это мгновение дверь отворилась, и как бы в доказательство того, что Господь Бог печется о Збышке, вошли два человека, чернявые, плотные, в желтых, похожих на еврейские, кафтанах, в красных шапках и необъятных шароварах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы ко лбу, к губам и к груди и кланяться при этом до самой земли.

– Это что за басурманы? – спросил Мацько. – Вы кто такие?

– Мы ваши невольники, – ответили пришельцы на ломаном польском языке.

– Как так? Откуда? Кто вас сюда прислал?

– Нас прислал пан Завиша в дар молодому рыцарю, чтобы мы были его невольниками.

– Боже мой! Еще два мужика! – с радостью воскликнул Мацько. – Из каких же вы будете?

– Мы турки.

– Турки? – переспросил Збышко. – У меня слугами будут два турка. Вы видали когда-нибудь турок?

И, подбежав к невольникам, он стал ощупывать и оглядывать их, как особенных заморских зверей.

– Видать не видал, – ответил Мацько, – но слышал, что у пана из Гарбова есть на службе турки, которых он захватил в неволю, когда воевал на Дунае у римского императора Сигизмунда. Как же быть? Ведь вы, собачьи дети, басурманы?

– Пан велел нам креститься, – сказал один из невольников.

– А выкупа у вас не было?

– Мы издалека, с азиатского берега, из Бруссы.

Збышко, который всегда с жадностью слушал рассказы о войне, особенно о подвигах достославного Завиши из Гарбова, стал расспрашивать турок, как они попали в неволю. Но в рассказе их не было ничего необычайного: три года назад Завиша напал в овраге на турецкий отряд в несколько десятков сабель, часть турок перебил, часть захватил в плен, а потом многих раздарил. Збышко и Мацько страшно обрадовались, получив такой замечательный подарок. С невольниками в те времена было особенно трудно, и обладатель их мог почитать себя богатым человеком.

А тем временем пришел и сам Завиша в сопровождении Повалы и Пашка Злодзеля из Бискупиц. Все они принимали участие в спасении Збышка и были рады, что все кончилось благополучно, а потому на прощание все они принесли ему на память подарки. Щедрый пан из Тачева принес широкую богатую попону для коня, отороченную спереди золотой бахромой.

Пашко подарил венгерский меч ценою в несколько гривен. Потом пришли Лис из Тарговиска, Фарурей и Кшон из Козихглов с Марцином из Вроцимовиц и, наконец, Зындрам из Машковиц – все с полными руками.

С радостью в сердце приветствовал их Збышко, счастливый и потому, что получил такие подарки, и потому, что самые славные рыцари королевства оказывают ему свое расположение. Они расспрашивали его об отъезде и о здоровье Мацька; как люди опытные, хоть и молодые, советовали всякие чудодейственные снадобья для ран.

Но Мацько только поручал Збышко их попечению, а сам собирался помирать. Трудно жить с осколком железа под ребрами. Старик жаловался, что все время плюет кровью и не может есть. Кварта лущеных орехов, кружок колбасы да миска яичницы – вот и вся его еда за целый день. Отец Цыбек несколько раз пускал ему кровь, полагая, что таким образом оттянет жар от сердца и вернет аппетит, – но и это не помогло.

Однако Мацько так был рад подаркам, которые получил племянник, что в эту минуту почувствовал себя получше, и, когда купец Амылей велел принести бочонок вина, чтобы попотчевать столь славных гостей, старик сел вместе с ними за чару. За столом завели разговор о спасении Збышка и о его обручении с Дануськой. Рыцари не сомневались, что Юранд из Спыхова не станет противиться воле княгини, особенно если Збышко отомстит за мать Дануськи и добудет обещанные павлиньи чубы.

– Вот только не знаем мы, – сказал Завиша, – захочет ли Лихтенштейн драться с тобой, он ведь монах и к тому же один из магистров ордена. Мало того! Люди из его свиты говорили, будто со временем он может стать великим магистром.

– Откажется драться – честь свою замазает, – заметил Лис из Тарговиска.

– Нет, – возразил Завиша, – он не светский рыцарь, а монахам не дозволяется драться на поединке.

– Да, но они часто это делают.

– Это потому, что в ордене перестали блюсти законы. Дают монахи всякие обеты, а слава идет, что, к вящему соблазну христианского мира, они только и делают, что нарушают свои обеты. Но драться не на жизнь, а на смерть крестоносец, особенно комтур, может, и не станет.

– Ну тогда ты его только на войне сыщешь.

– Так ведь поговаривают, будто войны не будет, – сказал Збышко, – будто крестоносцы страшатся теперь нашего народа.

– Недолго будет этот мир, – возразил Зындрам из Машковиц. – Не может быть мира с волком, который привык жить чужим.

– А тем временем нам, может, придется сразиться с Тимуром Хромым, – сказал Повала. – Едигей разбил князя Витовта, это уж доподлинно известно.

– Доподлинно. И воевода Спытко не вернулся, – подхватил Пашко Злодзей из Бискупиц.

– И много литовских князей полегло в бою.

– Покойная королева предсказывала, что так оно будет, – сказал пан из Тачева.

– Да, придется нам, пожалуй, двинуться на Тимура.

И разговор перешел на литовский поход против татар. Не оставалось уже никакого сомнения, что князь Витовт, полководец не столько опытный, сколько горячий, потерпел страшное поражение на Ворскле, причем пало множество литовских и русских бояр, а с ними горсточка польских рыцарей-охотников и даже крестоносцев. Рыцари, собравшиеся у Амылея, особенно сокрушались об участии молодого Спытка из Мельштына, самого знатного вельможи во всем королевстве, который по доброй воле отправился в поход и после битвы пропал без вести. Его превозносили до небес за подлинно рыцарский поступок: получив от татарского хана охраненный колпак, он не захотел надеть его во время битвы, предпочтя славную смерть жизни по милости басурманского владыки. Однако еще не было точно известно, погиб он или попал в

неволю. Из неволи он легко мог выкупиться, так как богатства его были неисчислимы, а король Владислав отдал ему вдобавок в ленное владение всю Подолию.

Но поражение литвинов могло быть чревато опасностью и для всего государства Ягайла, так как никто толком не знал, не бросятся ли татары, воодушевленные победой над Витовтом, на земли и города, принадлежащие великому княжеству. В этом случае в войну было бы вовлечено и королевство. Поэтому такие рыцари, как Завиша, Фарурей, Добко и даже Повала, привыкшие искать приключений и битв при заграничных дворах, умышленно не покидали Краков, не зная, что может принести недалекое будущее. Если бы повелитель двадцати семи государств, Тамерлан, двинул на Запад весь монгольский мир, грозная опасность нависла бы над королевством. Кое-кто предвидел, что это может произойти.

– Надо будет, так и с самим Хромцом сразимся. Не справиться ему так легко с нашим народом, как со всеми теми, кого он истребил и покорил. Да и другие христианские государи придут нам на помощь.

Зындрам из Машковиц, пылавший к ордену особенной ненавистью, с горечью возразил собеседнику:

– Не знаю, как государи, а крестоносцы готовы покумиться с татарами и ударить на нас с другой стороны.

– Вот и быть войне! – воскликнул Збышко. – Я против крестоносцев!

Но другие рыцари стали возражать. Хоть крестоносцы и не знают страха Божия и пекутся только о своем добре, но не станут они помогать басурманам против христианского народа. Да и Тимур воюет где-то далеко в Азии, а татарский хан Едигей столько людей потерял в битве, что, кажется, сам испугался своей победы. Князь Витовт предусмотрителен и, наверно, хорошо укрепил свои города, да и то надо сказать, коли потерпели на этот раз литвины неудачу, так ведь не внове им и победы над татарами одерживать.

– Не с татарами, а с немцами придется нам биться не на жизнь, а на смерть, – сказал Зындрам из Машковиц, – не уничтожим мы их, так от их рук сами погибнем.

После этого он обратился к Збышку:

– А прежде всех погибнет Мазовия. Не бойся, для тебя там всегда найдется работа!

– Эх! Кабы дядя был здоров, я бы сейчас же туда двинулся.

– Бог тебе в помощь! – сказал Повала, поднимая кубок.

– За здоровье твое и Дануськи!

– И за смерть немцам! – прибавил Зындрам из Машковиц.

И рыцари стали прощаться со Збышком. Но тут вошел придворный княгини с соколом в руке, поклонился рыцарям и, как-то странно улыбаясь, обратился к Збышку:

– Княгиня велела сказать вам, что эту ночь проведет в Кракове и тронется в путь только завтра утром.

– Вот и хорошо, – сказал Збышко. – Только почему же? Не захворал ли кто?

– Нет. У княгини гость из Мазовии.

– Уж не князь ли приехал?

– Нет, не князь, а Юранд из Спыхова, – ответил придворный.

При этих словах Збышко пришел в крайнее смущение, и сердце затрепетало у него в груди так, как в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.

VIII

Княгиня Анна не очень удивилась приезду Юранда из Спыхова – среди постоянных набегов, преследований и битв с соседними немецкими рыцарями им часто овладевала вдруг тоска по Данусе. Тогда он неожиданно появлялся в Варшаве, Цеханове или ином месте, где временно находился двор князя Януша. При виде девочки злая грусть всякий раз начинала терзать его сердце. С годами Дануся все больше становилась похожа на мать, и Юранду казалось, что он видит свою покойницу такой, какой когда-то увидел впервые у княгини Анны в Варшаве. Не раз люди думали, что от злой этой грусти смягчится в конце концов его железное сердце, исполненное одной только жадой мести. Княгиня тоже часто уговаривала его покинуть свой кровавый Спыхов и остаться при дворе с Данусей. Сам князь, ценя его силу и мужество и желая вместе с тем избавиться от неприятностей, которые доставляли ему постоянные пограничные стычки, даровал Юранду чин мечника. Все было напрасно. Вид Дануси растравлял его старые раны. Через несколько дней Юранд терял аппетит и сон, становился неразговорчив. Гнев начинал kloкотать в его груди, все в нем кипело мстостью, и в конце концов он исчезал и возвращался на спыховские болота, чтобы утопить в крови свою тоску и свой гнев. Люди говорили тогда: «Горе немцам! Они вовсе не овцы, но для Юранда они овцы, ибо он для них волк». А по прошествии некоторого времени разносился слух то о захваченных иноземцах, которые по пограничной дороге направлялись к крестоносцам в охотники, то о сожженных городках, то о захваченных в неволю мужиках или о смертельных схватках, из которых грозный Юранд всегда выходил победителем. Повадки у Мазуров и у немецких рыцарей, которым орден давал в аренду земли и городки на границе с Мазовией, были хищнические, поэтому даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом на границе не прекращались кровавые столкновения. Даже лес рубить или жать хлеб жители выходили вооруженные самострелами или копьями. У людей не было уверенности в завтрашнем дне, они всегда жили, готовые к бою, и сердца их от этого ожесточились. Никто не ограничивался одной обороной и за грабеж платил грабежом, за пожар пожаром, за набег набегом. И случалось, что, когда немцы тихо крались по лесным рубежам, чтобы учинить набег на какой-нибудь городок, угнать мужиков или стада, мазуры в это время совершали такой же набег в другом месте. Не раз враги сшибались в жестокой схватке, но часто только военачальники вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель угонял людей побежденного противника. И когда в Варшаву приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на набеги, учиненные в других местах немецкими рыцарями. Таким образом, обе стороны жаждали справедливости, но ни одна не хотела и не могла соблюсти ее, и поэтому все грабежи, пожары и набеги оставались совершенно безнаказанными.

Но Юранд, сидя в своем болотистом, поросшем камышом Спыхове и пылая неутолимой жадой мести, так донял своих зарубежных соседей, что в конце концов, невзирая на всю свою злобу, они в страхе перед ним отступились. Поля, граничившие со Спыховом, лежали невозделанные, леса зарастали диким хмелем и орешником, луга – камышом. Не один немецкий рыцарь, привыкший у себя дома к кулачному праву, пытался осесть по соседству со Спыховом, однако спустя немного времени он предпочитал отказаться от лена, стад и крестьян, чем жить под боком у неумолимого соседа. Часто рыцари сговаривались учинить всем вместе набег на Спыхов, но всякий раз такой набег кончался для них поражением. Они прибегали ко всяким способам. Однажды они привезли с Майна рыцаря, известного своей силой и жестокостью, выходившего победителем из всех боев, с тем чтобы он вызвал Юранда на поединок на утоптанной земле. Но когда противники заняли свои места и немец увидел грозного мазура, сердце у него упало, словно от какой-то колдовской силы, и он поворотил коня, чтобы спастись бегством, а Юранд пронзил его копьем не защищенный броней зад и лишил его таким образом

чести и жизни. С той поры такой страх объял соседей, что немец, завидев издали спыховские хаты, осенял себя крестным знамением и начинал творить молитву своему покровителю на небесах, ибо отныне все утвердилось в вере, что Юранд ради мести продал душу дьяволу.

О Спыхове рассказывали всякие страсти. Говорили, будто через топкие болота, посреди дремлющих, заросших ряской и горчаком трясин к Спыхову ведет такая узкая дорожка, что по ней рядом не могут проехать два всадника, будто по обочинам ее валяются немецкие кости, а ночью головы утопленных блуждают на паучьих ножках и со стоном и воем увлекают в трясины всадников вместе с лошадьми. Говорили, будто в самом городке частокол усажен человеческими черепами. Правдой во всем этом было только то, что из-под решетки подземелья, вырытого под домом в Спыхове, всегда доносился стон нескольких невольников и что имя Юранда страшнее всех сказок о скелетах и утопленниках.

Узнав о прибытии Юранда, Збышко тотчас поспешил к нему, но это был отец Дануси, и поэтому Збышко шел к нему с тревогой в душе. Никто не мог воспретить ему избрать Дануську госпожой и дать ей обет, но ведь княгиня обручила его с нею. Что скажет на это Юранд? Даст ли он свое согласие на брак и что будет, если он закричит, что как отец никогда этого не допустит? Тревога росла в душе Збышка, ибо Дануся была сейчас для юноши дороже всего на свете. Только мысль о том, что Юранд не в вину, а в заслугу поставит ему нападение на Лихтенштейна, придавала Збышку бодрости; ведь он совершил этот поступок, желая отомстить за мать Дануси, и чуть было сам не поплатился за это головой.

Он стал расспрашивать придворного, посланного за ним к Амылею:

– Куда же вы меня ведете? В замок?

– Ну конечно, в замок. Юранд остановился там вместе с двором княгини.

– Скажите, что это за человек?.. Я должен знать, как надо с ним держаться...

– Как вам сказать? Он совсем не похож на других людей. Говорят, раньше, когда сердце его еще не ожесточилось, он был человек веселый.

– Умен ли он?

– Хитер, потому что других бьет, а сам не дается. Эх! Один у него глаз, другой немцы стрелой ему выбили, но одним этим глазом он человека видит насквозь. Никто не может с ним сладить... Любит Юранд только нашу княгиню, женился он на ее придворной, а сейчас вот его дочка у нее воспитывается.

Збышко вздохнул с облегчением.

– Так вы говорите, он не станет противиться воле княгини?

– Я понимаю, о чем вы хотите дознаться, и сейчас расскажу вам все, что слышал. Княгиня говорила ему о вашем обручении – нехорошо было бы утаить это от него, – но что Юранд ей сказал, не знаю.

Беседуя таким образом, они дошли до ворот. Капитан королевских лучников, тот самый, который недавно вел Збышка на казнь, теперь приветливо кивнул ему головой; миновав стражу, Збышко с посланцем княгини вошел во двор, а затем повернул направо к флигелю, который занимала княгиня.

Столкнувшись в дверях со слугой, придворный спросил:

– Где Юранд из Спыхова?

– В угольчатой комнате, с дочерью.

– Сюда пожалуйста, – сказал придворный, показывая на дверь.

Збышко перекрестился и, приподняв занавес на открытых дверях, с бьющимся сердцем вошел в комнату. Однако он не сразу заметил Юранда и Данусю, потому что комната была не только угольчатая, но и темная. Только через некоторое время он разглядел светлую головку девочки, сидевшей на коленях у отца. Они не слышали, как Збышко вошел, поэтому он остановился у занавеса, кашлянул и наконец произнес:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, – ответил Юранд, вставая.

В эту минуту к молодому рыцарю подбежала Дануса и, схватив его за руку, воскликнула:

– Збышко! Батюшка приехал!

Збышко поцеловал ей руку, затем подошел с нею к Юранду и сказал:

– Я пришел к вам с поклоном; вы знаете, кто я?

И он склонился, сделав руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда. Но тот схватил его за руку, повернул к свету и в молчании вперил в него взор.

Збышко уже немного оправился и, подняв на Юранда любопытные глаза, увидел богатыря с рыжеватыми волосами и такими же рыжеватыми усами, с рябинами от оспы на лице и одним глазом стального цвета. Юноше казалось, что этот глаз хочет пронзить его насквозь, и он снова смутился и, не зная, что сказать, спросил, лишь бы только прервать тягостное молчание:

– Так вы Юранд из Спыхова, отец Дануси?

Но тот только указал Збышку на скамью рядом с дубовым креслом, на которое уселся он сам, и, не ответив ни слова, по-прежнему пристально смотрел на юношу.

Збышко потерял наконец терпение.

– Знаете, – сказал он, – неловко мне сидеть вот так, как на суде.

Только тогда Юранд спросил:

– Так это ты хотел сразить Лихтенштейна?

– Я! – ответил Збышко.

Удивительным светом зажегся при этом единственный глаз пана из Спыхова, и грозное лицо рыцаря немного прояснилось. Через минуту он бросил взгляд на Данусю и снова спросил:

– И все это ради нее?

– А ради кого же еще? Дядя, верно, вам рассказывал, что я дал ей обет сорвать у немцев павлиньи чубы. Только не три сорву я чуба, а по меньшей мере столько, сколько пальцев на обеих руках. И вам я помогу отомстить немцам – все ведь это месть за мать Дануси.

– Горе им! – воскликнул Юранд.

И снова воцарилось молчание. Однако Збышко сообразил, что, выказывая свою ненависть к немцам, он привлечет к себе сердце Юранда.

– Не прощу я им ни за что, – сказал он, – хоть из-за них мне уже чуть голову не срубили.

Тут он повернулся к Данусе и прибавил:

– Она вот спасла меня.

– Знаю, – сказал Юранд.

– А вам это, может, не по сердцу?

– Коли дал ты обет, так служи ей – таков рыцарский обычай.

Збышко заколебался, но через минуту заговорил с видимым беспокойством:

– Видите ли... она мне на голову покрывало накинула... Все рыцари слышали, и францисканец, который был при мне с крестом, слышал, как она сказала: «Он мой!» И, видит Бог, ничьим я больше не буду до самой смерти.

При этих словах он снова преклонил колени и, желая показать, что знает рыцарские обычаи, весьма почтительно поцеловал оба башмачка Дануси, сидевшей на подлокотнике кресла, а затем повернулся к Юранду и сказал:

– Видали ль вы другую такую... а?

А Юранд схватился вдруг за голову своими страшными руками, пролившими столько крови, и, закрыв глаза, глухо ответил:

– Видал, только немцы убили ее у меня.

– Так вот, послушайте, – с жаром сказал Збышко, – одна у нас обида и месть одна. Да и наших из Богданца сколько эти псы перестреляли, когда кони их увязли в трясине. Никого лучше меня вы для вашего дела не сыщете... Не в диковинку мне все это! Спросите у дяди. На копьях ли, на секирах ли, на длинных или на коротких мечах – мне все едино! Рассказывал

ли вам дядя про фризов? Как баранов, буду резать немцев; что ж до девушки, то на коленях клянусь вам, что за нее с самим сатаной выйду на бой и не променяю ее ни на землю, ни на стада, ни на какое оружие, и если мне даже замок со стеклянными окнами будут давать без нее, то и замок покину и пойду за нею на край света.

Некоторое время Юранд сидел, опустив голову на руки, а затем, словно очнувшись ото сна, сказал с сожаленьем и грустью:

– Полюбился ты мне, хлопец, но не отдам я ее за тебя, потому что не тебе, бедняга, она судьбою назначена.

Збышко просто дар речи потерял при этих словах и воззрился на Юранда широко раскрытыми глазами, не в силах слова молвить.

Однако на помощь ему пришла Дануся. Уж очень мил ей был Збышко, и так приятно было, что ее принимают не за «коротышку», а за «невесту». Ей нравилось и обручение, и лакомства, которые ей каждый день приносил ее рыцарь, поэтому, поняв сейчас, что все это хотят у нее отнять, она мигом соскользнула с подлокотника и, спрятав голову на коленях у отца, закричала:

– Батюшка! Батюшка! Я буду плакать!

Юранд любил ее, видно, больше всего на свете: с нежностью положил он руку на голову дочери. На лице его не отразилось ни досады, ни гнева, одна только печаль.

Збышко тем временем оправился и сказал:

– Как же так? Значит, вы хотите воспротивиться воле Божьей?

– Коли будет на то воля Божья, – ответил ему Юранд, – Дануся будет твоею, но я на это не могу дать своего согласия. И рад бы, да не могу.

С этими словами Юранд поднял Данусю и, взяв ее на руки, направился было к двери, но, когда Збышко хотел преградить ему дорогу, он задержался на минуту и сказал:

– Я не буду на тебя в обиде за рыцарскую службу, но больше ни о чем меня не пытай, я ничего не могу тебе сказать.

И вышел вон.

IX

Однако на другой день Юранд не сторонился Збышка и не мешал ему оказывать Данусе в пути всякие услуги, которые тот как рыцарь должен был ей оказывать. Как ни огорчен был Збышко, он все же заметил, что угрюмый пан из Спыхова поглядывает на него с благосклонностью и даже как будто сожалеет о том, что вынужден был дать ему столь жестокий ответ. По дороге молодой шляхтич не раз пытался приблизиться к Юранду и завязать с ним разговор. После выезда из Кракова это легко было сделать, так как оба они сопровождали княгиню верхом. Юранд, который обычно был молчалив, со Збышком беседовал довольно охотно; но как только тот делал попытку узнать, какое же препятствие встало между ним и Данусей, внезапно обрывал разговор и снова становился угрюм. Збышко подумал, не знает ли обо всем этом княгиня, и, улучив удобную минуту, попробовал расспросить ее, но и она не много могла ему рассказать.

– Какая-то тайна тут скрыта, – заметила она. – Мне сам Юранд сказал об этом, но просил ни о чем не выпытывать. Должно быть, он связан какой-то клятвой, это бывает. Бог даст, со временем все разъяснится.

– Мне без нее жить на свете все равно что псу на привязи иль медведю в яме, – сказал ей Збышко. – Ни тебе радости, ни утешения. Одна тоска да печаль. Уж лучше было мне пойти с князем Витовтом к Тавани, пусть бы меня там татары убили. Но ведь мне сперва надо дядю отвезти домой, а потом, как я обещал, павлиньи чубы сорвать у немцев с голов. Может, убьют меня при этом, ну да оно и лучше было бы, чем смотреть, как другой возьмет Дануську.

Княгиня подняла на него свои голубые глаза и спросила с некоторым удивлением:

– Да неужто ты допустил бы до этого?

– Я-то? Да куда я жив, этому не бывать! Разве рука отсохнет и не сможет держать секиру!

– Вот видишь!

– Да, но как же мне ее против воли родительской взять?

Будто про себя княгиня молвила:

– Господи, всяко бывает...

А потом Збышку сказала:

– Да разве воля Божья не выше родительской? А что сказал Юранд? «Коли будет на то воля Божья, – сказал он, – быть ей за Збышком».

– Он и мне это говорил! – воскликнул Збышко. – «Коли будет на то воля Божья, – сказал он, – быть ей за тобою».

– Вот видишь!

– При ваших милостях, вельможная пани, одно это у меня утешение.

– Мною ты не обижен, а Дануська тебе будет верна. Еще вчера я ее спрашивала: «Будешь ли, Дануська, Збышку верна?» А она мне отвечает: «Не ему, так никому не достанусь». Молодое, но ежели даст слово, то сдержит его; шляхтянка она, не какая-нибудь приبلуда. И мать у нее была такая.

– Дай-то Бог! – сказал Збышко.

– Но только помни, и ты сдержи свое слово, а то ваш брат такой: обещается верно любить – смотришь, а уж липнет к другой, да так, что и на привязи его не удержишь. Верно говорю!

– Разрази меня Бог! – с жаром воскликнул Збышко.

– То-то, помни. А как отвезешь дядю домой, приезжай к нам, ко двору. Случай представится, шпоры получишь, а там поглядим, что Бог даст. Дануська за это время подрастет, и сердце скажет ей, по ком оно болит; ведь она тебя крепко любит сейчас, – и говорить нечего, – но только не девичья еще это любовь. Может, и Юранду ты по сердцу придешься, сдается мне,

он бы рад всей душой. И в Спыхов поедешь, на немцев с Юрандом двинешься, может статься, так ему угодишь, что совсем привлечешь его сердце.

– Я и сам, милостивейшая княгиня, думал это сделать, но, коли вы мне позволяете, так мне легче будет.

Разговор этот очень ободрил Збышко. Однако на первом же привале старому Мацьку стало так худо, что пришлось задержаться и ждать, пока он хоть немного оправится, чтобы продолжать путь. Добрая княгиня Данута оставила старику все лекарства и снадобья, какие только были при ней, но сама должна была ехать дальше, так что обоим рыцарям из Богданца пришлось расстаться с мазовецким двором. Повалился Збышко в ноги сперва княгине, а потом Данусе, еще раз поклялся своей госпоже, что будет верно служить ей, пообещал приехать вскоре в Цеханов или в Варшаву, обнял наконец ее сильными руками и, подняв вверх, стал с волнением повторять:

– Не забудь же ты меня, цветочек мой аленький, не забудь, рыбка моя золотая!

А Дануся, обняв его так, как младшая сестра обнимает дорогого брата, прижалась вздутым носиком к его щеке и, горько плача, твердила:

– Не хочу в Цеханов без Збышко, не хочу в Цеханов!

Юранд все это видел, но не разгневался. Напротив, сам сердечно простился с юношей, а когда уже сидел на коне, обернулся еще раз к нему и сказал:

– Счастливо оставаться, а на меня не гневайся!

– Как же мне на вас гневаться, коли вы отец Дануськи! – горячо ответил Збышко.

Он склонился к стремени Юранда, а тот крепко пожал ему руку и сказал:

– Дай Бог тебе счастья во всем!.. Понимаешь?

И уехал прочь. Збышко, однако, понял, какой сердечностью были проникнуты его последние слова, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацько, обратился к старику со следующими словами:

– Знаете, что я вам скажу: он бы и сам не прочь, да что-то ему мешает. Вы человек сметливый, были в Спыхове – ну-ка, раскиньте умом, что тут за причина.

Но Мацько разнемогся совсем. Жар, который открылся у него утром, к вечеру так увеличился, что старик стал забываться; вместо того чтобы ответить Збышку, он устался на него и удивленно спросил:

– А где это звонят?

Збышко испугался, ему пришло на ум, что раз больному слышится колокольный звон, видно, у него уже смерть в головах. Подумал он и про то, что старик может умереть без ксендза, без покаяния, и, значит, попасть коли не в самый ад, то на многие века в чистилище. Он заторопился поэтому дальше, чтобы поскорее добраться до какого-нибудь прихода, где Мацько мог бы в последний раз причаститься.

Решено было ехать всю ночь. Збышко сел на телегу с сеном, на которой лежал больной, и бодрствовал до рассвета. Время от времени он давал старику вина, которым снабдил их на дорогу купец Амылей, и Мацько, которого мучила жажда, пил с жадностью, видно, чувствовал от этого облегчение. После второй кварты он даже пришел в себя, а после третьей уснул таким крепким сном, что Збышко время от времени склонялся над ним, чтобы убедиться, что старик не умер.

При одной мысли об этом им овладевала безысходная тоска. До той самой минуты, пока его не бросили в Кракове в темницу, он не представлял себе, как крепко любит своего дядю, который заменил ему отца с матерью. Только сейчас он это понял и почувствовал вместе с тем, каким круглым сиротой останется он на свете после смерти старика – без родных, кроме разве аббата, который держал в залоге Богданец, без друзей и без помощи. В то же время ему пришло на ум, что если Мацько умрет, так тоже по вине немцев, из-за которых и он сам чуть было не поплатился головой, и погибли все его предки, мать Дануси и много, много невинных людей,

которых он знал или о которых слышал от знакомых, – и он просто диву дался. «Да неужто, – говорил он сам себе, – во всем королевстве не найдется человека, который не был бы обижен ими и не жаждал бы мести?» Ему вспомнились немцы, с которыми он дрался под Вильно, и он подумал, что, пожалуй, и татары так жестоко не дерутся и что, пожалуй, на всем свете нет народа жесточе немцев.

Рассвет прервал его размышления. День вставал ясный, но холодный. Мацько чувствовал себя заметно лучше, дышал ровней и спокойней. Он проснулся только тогда, когда солнце уже стало сильно пригревать, открыл глаза и сказал:

– Полегчало мне. Где это мы?

– Подъезжаем к Олькушу⁴⁷. Знаете?.. Где серебро добывают и серебрину отдают в королевскую казну.

– Вот бы нам все недра земные! То-то бы Богданец застроили!

– Видно, вам уже легче стало, – засмеялся Збышко. – Ого-го! И на каменный замок хватило бы! Давайте-ка заедем к ксендзу, там мы и приют найдем, да и вы поисповедаетесь. Все мы под Богом ходим, но лучше, когда у человека совесть чиста.

– Я человек грешный и покаюсь с радостью, – ответил Мацько. – Снилось мне ночью, будто черти стаскивали с меня сапоги и между собой по-немецки болтали. Благодарение Создателю, полегче мне стало. А ты соснул ли хоть маленько?

– Как же мне было спать, когда я за вами глядел?

– Ты приляг хоть немножко. Как приедем, я тебя разбужу.

– Не до сна мне!

– Что ж тебе спать не дает?

Збышко поглядел на дядю детскими своими глазами:

– Что ж, как не любовь? Да у меня от вздохов уже колики в животе. А не сесть ли мне на коня, авось станет легче.

И Збышко соскочил с телеги и сел на коня, которого ему проворно подвел подаренный Завишей турок. Мацько от боли то и дело хватался за бок, но, видно, думал не о своей болезни, а о чем-то другом, потому что качал головой, причмокивал и наконец сказал:

– Дивлюсь это я, дивлюсь и надивиться не могу, что это ты до девок так охоч, ведь ни отец твой, ни я не были такими.

Но Збышко вместо ответа выпрямился вдруг в седле, подбоченился, поднял голову вверх и залился песней:

Плакал я до зорьки, и роса уж пала.
Где ж, моя голубка, где ж ты запропала?
Больше не увижу девушки я красной,
Выплачу от горя свои очи ясны.
Эй!

Это «эй!» раскатилось по лесу, отдалось от придорожных деревьев и, отозвавшись эхом вдали, замерло в лесной чаще.

А Мацько снова пощупал свой бок, в котором застряло немецкое жало, и сказал, покрывая:

– В старину люди поумней были – понял?

Однако задумался на минутку, словно вспоминая давние времена, и прибавил:

– А впрочем, и в старину дураки бывали.

⁴⁷ *Олькуш* – город в Краковской земле, в XIV–XVI вв. переживал пору расцвета рудных промыслов (добыча серебра, свинца). Ныне в Катовицком воеводстве.

Но тут они выехали из лесу, за которым увидели рудный двор, а за ним зубчатые стены Олькуша, возведенные королем Казимиром, и колокольню костела, сооруженного Владиславом Локотком.

Х

Гостеприимный приходский каноник, поисповедав Мацька, оставил путников на ночлег, так что они выехали только на следующий день утром. За Олькушем они повернули в сторону Силезии, вдоль границы которой должны были ехать до самой Великой Польши. Дорога большей частью пролегла дремучим лесом, где на закате то и дело раздавался рык туров и зубров, подобный подземному грому, а по ночам в чаще орешника сверкали глаза волков. Но куда большая опасность грозила на этой дороге путникам и купцам от немецких или онемечившихся силезских рыцарей, чьи небольшие замки высились то там, то тут вдоль границы. Правда, во время войны короля Владислава с опольским князем Надерспаном, которому помогали его силезские племянники, поляки разрушили большую часть этих замков; все же здесь всегда надо было быть начеку и, особенно после заката солнца, не выпускать из рук оружия.

Однако наши путники спокойно продвигались вперед, так что Збышку уже наскучила дорога, и только однажды ночью на расстоянии одного дня езды до Богданца они услышали позади конский топот и фыркание.

– Кто-то едет за нами, – сказал Збышко.

Мацько, который в эту минуту не спал, поглядел на звезды и, как человек опытный, заметил:

– Скоро рассвет. На исходе ночи разбойники не стали бы нападать, им, как начинает светать, пора по домам.

Збышко все-таки остановил телегу, построил своих людей поперек дороги, лицом к приближающимся незнакомцам, а сам выехал вперед и стал ждать.

Спустя некоторое время он увидел в сумраке ночи десятка полтора всадников. Один из них ехал впереди, в нескольких шагах от прочих, но, видно, не имел намерения укрыться и громко распевал песню. Збышко не мог разобрать слов, но до слуха его явственно долетало веселое «Гоп! Гоп!», которым незнакомец заканчивал каждый куплет своей песни.

«Наши!» – сказал он про себя.

Однако через минуту крикнул:

– Стой!

– А ты сядь! – ответил шутливый голос.

– Вы кто такие?

– А вы кто такие-сякие?

– Вы что за нами гонитесь?

– А ты что дорогу загородил?

– Отвечай, а то тетива натянута.

– А наша перетянута – стреляй!

– Отвечай по-людски, ты что, в беде не бывал, нужды не видал?

На эти слова Збышку ответили веселой песней:

Нужда с нуждой повстречались,

На развилке в пляс пускались...

Гоп! Гоп! Гоп!

Что ж так лихо расплясались?

Верно, век уж не встречались...

Гоп! Гоп! Гоп!

Збышко поразился, услышав такой ответ, а тем временем песня смолкла, и тот же голос спросил:

– А как здоровье Мацька? Скрипит еще старина?

Мацько приподнялся на телеге и сказал:

– Боже мой, да ведь это наши!

Збышко тронул коня.

– Кто спрашивает про Мацька?

– Да это я, сосед, Зых из Згожелиц. Чуть не целую неделю еду за вами и расспрашиваю про вас по дороге.

– Господи! Дядя! Да ведь это Зых из Згожелиц! – крикнул Збышко.

И все весело стали здороваться. Зых в самом деле был их соседом и к тому же человеком добрым, которого все любили за веселый нрав.

– Ну, как вы там поживаете? – спрашивал он, тряся руку Мацька. – Еще скачете или уже не скачете?

– Эх, кончилось уже мое скаканье! – ответил Мацько. – До чего же я рад вас видеть. Боже ты мой, будто я уж в Богданце!

– А что с вами? Я слышал, вас немцы подстрелили.

– Подстрелили, собачьи дети! Жало застряло у меня между ребрами...

– Боже ты мой! Как же вы теперь? А медвежьего сала попить не пробовали?

– Вот видите, – сказал Збышко, – все советуют пить медвежье сало. Нам бы только доехать до Богданца! Сейчас же пойду на ночь с секирой под борть.

– Может, у Ягенки есть, а нет, так я у соседей спрошу.

– У какой Ягенки? Разве вашу не Малгохной звали? – спросил Мацько.

– Эх! Какая там Малгохна! Третья осень с Михайла пойдет, как Малгохна в могиле. Задорная была баба, царство ей небесное! Но Ягенка в мать уродилась, только что еще молода...

...Вон уж видно горку нашу,
Дочка вышла вся в мамашу...
Гоп! Гоп!

...Говорил я Малгохне: не лезь на сосну, коль тебе пятьдесят годов. Какое там! Влезла. А сук под ней возьми и подломись, она и грянулась наземь! Скажу я вам, ямку выбила в земле, да через три дня Богу душу и отдала.

– Упокой, Господи, ее душу! – сказал Мацько. – Помню, помню... подбоченится, бывало, да начнет браниться, так слуги на сеновал прятались. Но хозяйка была замечательная! Значит, с сосны свалилась?.. Скажи пожалуйста!

– Свалилась, как шишка на зиму... Ох и горевал я! После похорон так напился, что, верите, три дня не могли меня добудиться. Думали уж, что и я ноги протянул. А сколько я потом слез пролил – море! Но и Ягенка у меня хорошая хозяйка. Все сейчас у нее на руках.

– Я что-то плохо ее помню. От горшка два вершка была, когда я уезжал. Под конем могла пройти, не достав до брюха. Эх, давно уж это было, сейчас она, верно, выросла.

– На святую Агнешку пятнадцать ей стукнуло; но я ее тоже чуть не целый год не видал.

– Где же вы были? Откуда возвращаетесь?

– С войны. Какая мне нужда дома сидеть, коли у меня Ягенка?

Хоть Мацько и был болен, но, услышав о войне, насторожился и с любопытством спросил:

– Вы, может, были с князем Витовтом на Ворскле?

– Был! – весело ответил Зых из Згожелиц. – Только не дал ему Бог удачи: страшное поражение нанес нам Едигей. Сперва татары перестреляли нам коней. Татарин, он не пойдет врукопашную, как христианский рыцарь, а стреляет издали из лука. Нажмешь на него, а он убежит и опять из лука целится. Ну что ты станешь с ним делать! А у нас, слышь, в войске

рыцари всё силой своей похвалялись: «Мы, дескать, ни копий не склоним, ни мечей из ножен не выхватим, копытами эту нечисть растопчем!» Похвалялись это они, похвалялись, а тут как засвистят стрелы, инда все кругом потемнело! Кончилась битва, и что же? Из десяти едва один жив остался. Верите? Больше половины войска, семьдесят литовских и русских князей, осталось на поле боя, а уж бояр да всяких дворян, как они там зовутся, отроков, что ли⁴⁸, так и за две недели не счел бы.

– Слыхал я про это, – прервал его Мацько. – И наших рыцарей, которые к князю пошли на подмогу, тоже тьма полегло.

– Да и крестоносцев девять человек, которые тоже служили у Витовта. А уж наших – пропасть; мы ведь народ такой – где другой прежде назад оглянется, мы оглядываться не станем. Великий князь больше всего полагался на наших рыцарей и в битве никого, кроме поляков, не хотел брать в свою охрану. Ха-ха! Все поле около него усеялось трупами, а ему хоть бы что! Погиб пан Спытко из Мельштына, и мечник Бернат, и стольник Миколай, и Прокон, и Пшецлав, и Доброгост, и Ясько из Лязевиц, и Пилик Мазур, и Варш из Михова, и воевода Соха, и Ясько из Домбровы, и Петрко из Милославья, и Щепецкий, и Одерский, и Томко Лагода. Да разве их всех перечтешь! А некоторых татары просто утыкали стрелами, так что они стали похожи на ежей, – смех, да и только!

Он и впрямь рассмеялся, будто рассказывал веселенькую историю, и вдруг затянул песню:

Басурмана знай натуру,
Всю тебе исколет шкуру!

– Ну а что же потом? – спросил Збышко.

– Потом великий князь бежал, а сейчас, как всегда, опять воспрянул духом. Он такой: чем больше его пригнешь к земле, тем сильнее распрямится, как ореховый прут. Бросились мы тогда к Таванскому броду защищать переправу. Подоспела к нам и новая горсточка рыцарей из Польши. Ну, ладно! Пошел на другой день Едигей, и татар с ним тьма-тьмушая, но уж ничего не мог поделаться. Ну и потеха была! Сунется он к броду, а мы его в рыло. Никак не мог прорваться. Мы их и перебили, и в плен захватили немало. Я сам поймал пятерых, вот везу их с собой в Згожелицы. Днем поглядите, что это за рожи.

– В Кракове толковали, будто война может перекинуться и в королевство.

– Ну, Едигей не такой дурак. Он отлично знал, какие у нас рыцари, знал и то, что самые славные остались дома, потому что королева была недовольна, что Витовт на свой страх затеял войну. Ух и хитер же старый Едигей! Он у Тавани тотчас сообразил, что силы князя растут, и ушел себе прочь, за тридевять земель!..

– А вы вернулись?

– Я вернулся. Там больше нечего делать. А в Кракове я узнал, что вы выехали чуть пораньше меня.

– Так вы знали, что это мы едем?

– Знал, я ведь на привалах всюду про вас спрашивал.

Тут он обратился к Збышку:

– Господи Боже мой, да ведь я тебя в последний раз мальчишкой видал, а сейчас хоть и темно, а можно догадаться, что молодец из тебя вышел, как тур. Ишь, сразу из самострела хотел стрелять!.. Побывал уж, видно, на войне.

– Я на войне сызмальства. Пусть дядя скажет, какой из меня воин.

⁴⁸ ...всяких дворян, как они там зовутся, отроков, что ли... – Отроками в средневековой Руси (X—XI вв.) звали младших дружинников князей и крупных феодалов.

– Незачем дяде говорить мне об этом. Я в Кракове видал пана из Тачева, он мне про тебя рассказывал... Сдается, этот мазур не хочет отдать за тебя свою дочку, ну а я бы не стал кобениться, потому ты мне по нраву пришелся... Позабудешь ты свою девушку, как увидишь мою Ягенку. Девка – что репа!..

– А вот и неправда! Не позабуду, хоть и десяток увижу таких, как ваша Ягенка.

– Я дам за ней Мочидолы с мельницей. Да на лугах, когда я уезжал, паслось десять добрых кобылиц с жеребятами... Небось не один еще мне в ноги поклонится, чтоб я отдал за него Ягну!

Збышко хотел было сказать: «Только не я!» – но Зых из Згожелиц снова стал напевать:

Я вам в ножки поклонюся,
В жены дайте мне Ягнюсю!
Эх, чтоб вас!

– У вас все смешки да песни на уме, – заметил Мацько.

– Да, но скажите мне, что делают на небесах блаженные души?

– Поют.

– Ну, вот видите. А отверженные плачут. Я предпочитаю попасть не к плачущим, а к поющим. Апостол Петр тоже скажет: «Надо пустить его в рай, а то он, подлец, и в пекле запоет, а это никуда не годится». Гляньте – уж светает.

Действительно, уже вставал день. Через минуту все выехали на широкую поляну, где уже было совсем светло. На озерце, занимавшем большую часть поляны, рыбаки ловили рыбу; при виде вооруженных людей они бросили невод, выскочили из воды и, поспешно схватившись за дреколья, замерли с воинственным видом, готовые к бою.

– Они приняли нас за разбойников, – засмеялся Зых. – Эй, рыбаки, чьи вы будете?

Те еще некоторое время стояли в молчании, недоверчиво поглядывая на путников, пока наконец старший рыбак не признал в незнакомцах рыцарей и не ответил:

– Да мы ксендза аббата из Тульчи.

– Это наш родич, – сказал Мацько, – у него в залоге Богданец. Верно, и леса его, только аббат, должно быть, недавно их купил.

– Как бы не так! – возразил Зых. – Он за эти леса воевал с Вильком из Бжозовой и, видно, отвоевал их. Еще год назад они за всю эту сторону должны были драться конные на копьях и на длинных мечях; уехал я и не знаю, чем это кончилось.

– Ну, мы с ним свояки, – заметил Мацько, – с нами он драться не станет, может быть, и выкупа меньше возьмет.

– Может быть. Если с ним по-хорошему, так он и свое готов отдать. Не аббат, а рыцарь, шлем надевать ему не в диковину. И при всем том набожен и уж так-то хорошо служит. Да вы, верно, сами помните... Как рывкнет на обедне, так ласточки под крышей из гнезд вылетают. Ну и люди еще больше Господа славят.

– Как не помнить! Бывало, как дохнет, так в десяти шагах свечи гаснут. Приезжал он хоть разок в Богданец?

– А как же! Приезжал. Пятерых новых мужиков с женами поселил на росчисти. И к нам, в Згожелицы, тоже наезжал, – вы знаете, он у меня Ягенку крестил, старик ее очень любит и называет доченькой.

– Дай-то Бог, чтобы он мне мужиков оставил, – сказал Мацько.

– Подумаешь! Что для такого богача пятеро мужиков! Да если Ягенка его попросит, он оставит.

Разговор на некоторое время оборвался, потому что из-за темного бора и из-за румяной зари поднялось ясное солнце и залило все кругом своим светом. Рыцари приветствовали вос-

ходящее солнце обычным «Слава Иисусу Христу!», а затем, перекрестившись, стали творить утреннюю молитву.

Зых кончил первым и, ударив себя несколько раз в грудь, обратился к товарищам:

– Ну а теперь дайте я на вас погляжу хорошенько. Ну и изменились же вы оба!.. Вам, Мацько, перво-наперво надо поправиться. Придется Ягенке этим заняться, а то в вашем доме бабы днем с огнем не сыщешь... Видно, видно, что осколок застрял у вас между ребрами... Плохо дело...

Затем он повернулся к Збышку.

– Ну-ка, покажись и ты... Боже милостивый! Да я помню, как ты маленький, бывало, уцепишься жеребенку за хвост и взберешься к нему на спину, а теперь, погляди-ка, какой из тебя вышел рыцарь!.. Лицом красная девица, а в плечах ничего, широк... Этак и с медведем мог бы схватиться...

– Что ему медведь! – ответил на это Мацько. – Помоложе был, когда фризу пятерней все усы вырвал, тот, видишь ли, голоусым его назвал, ну а ему это не понравилось.

– Знаю, – прервал Зых старика. – И то, что вы после дрались с фризами и захватили всех их слуг. Все это мне рассказывал пан из Тачева:

Немец здорово нажился,
Лег в могилу в чем родился.
Гоп! Гоп!

И он стал весело подмигивать Збышку, а тот тоже воззрился с любопытством на его длинную, как жердь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и круглые смеющиеся глаза.

– О! – воскликнул Збышко. – Да если только дядя, Бог даст, выздоровеет, то с таким соседом не соскучишься.

– Лучше иметь веселого соседа, – ответил Зых, – потому что с ним не поссоришься. А теперь послушайте-ка, что я вам по-хорошему, по-христиански скажу. Давно вы не были дома, там у вас, в Богданце, мерзость запустения. Я не про хозяйство говорю, нет, аббат хорошо хозяйничал... и леса делянку выкорчевал, и на расчисти новых мужиков поселил... Но сам-то он только наезжает в Богданец, значит, в кладовой у вас пусто, да и в доме хорошо если найдется лавка да охалка гороховой соломы для спанья, а ведь больному нужны удобства. Знаете что, давайте поедem со мной в Згожелицы. Погостите у меня месячишко-другой, я очень буду рад вам, а Ягенка тем временем о Богданце подумает. Вы уж только во всем на нее положитесь, ни о чем не думайте... Збышко будет наезжать в Богданец, чтобы присмотреть за хозяйством, а ксендза аббата я привезу вам в Згожелицы, так что вы мигом тут с ним разочтетесь... А за вами, Мацько, дочка как за родным отцом будет ходить – ну а вы знаете, больному человеку нет ничего лучше, когда баба за ним поухаживает. Ну же! Голубчики! Соглашайтесь!

– Все знают, что вы хороший человек и всегда были таким, – ответил растроганный Мацько, – но коли суждено мне помереть от проклятой занозы, что сидит у меня между ребрами, так уж лучше на своем пепелище. К тому же дома, коли ты и болен, все равно и порасспросишь кой о чем, и приглядишь, и порядок кое в чем наведешь. Коли зовет тебя Господь на тот свет, что ж, ты тут не властен! Лучше ли, хуже ли будут глядеть за тобой, все равно не отвертишься. А к походной жизни мы привычны. Кто несколько лет спал на голой земле, для того и охалка гороховой соломы хороша. Но спасибо вам за ваше доброе сердце, и ежели я не смогу вас за это отблагодарить, так Збышко, даст Бог, в долгу не останется.

Зых из Згожелиц, который и в самом деле славился своей добротой и отзывчивостью, продолжал настаивать на своем и упрашивать соседей; но Мацько уперся: помирать, так в своем углу! Целые годы снился ему Богданец во сне, и сейчас, когда родное гнездо чуть не

рядом, ни за что на свете он не бросит его, хоть бы последнюю ночь пришлось ему там ночевать. Бог и так милостив, что дал ему силы дотащиться сюда.

Тут старик утер слезы, которые навернулись ему на глаза, огляделся кругом и сказал:

– Коли это леса Вилька из Бжозовой, то после полудня мы будем дома.

– Не Вилька из Бжозовой, а уже аббата, – заметил Зых.

Больной Мацько улыбнулся и немного погодя ответил:

– Коли аббата, так, может быть, когда-нибудь будут нашими.

– Смотрите-ка, только что говорил о смерти, – весело воскликнул Зых, – а сейчас уж хочет пережить аббата.

– Да это не я, а Збышко его переживет.

Дальнейший разговор прервали донесшиеся издали звуки рогов в лесу. Зых тотчас придержал коня и стал прислушиваться.

– Должно быть, кто-то охотится, – сказал он. – Погодите.

– Может, аббат. Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас с ним встретились.

– Тише!

И Зых повернулся к людям:

– Стой!

Все остановились. Рога затрубили ближе, а через минуту раздался собачий лай.

– Стой! – повторил Зых. – Сюда идут!

Збышко соскочил с коня и крикнул:

– Дайте самострел! Может, зверь выбежит на нас! Скорей! Скорей!

И, вырвав самострел из рук слуги, он упер его в землю, прижал животом, наклонился, выгнул спину, как лук, и, схватив тетиву обеими руками, в мгновение ока натянул ее на железный запор, вложил стрелу и бросился в лес.

– Натянул! Без рукоятки натянул! – прошептал Зых, изумленный такой необыкновенной силой.

– Он у меня молодчина! – прошептал с гордостью Мацько.

Тем временем звуки рогов и собачий лай слышались еще ближе, и вдруг справа в лесу раздался тяжелый топот, треск кустов и ветвей, и на дорогу из чащи вынесся стрелой старый бородатый зубр с огромной, низко опущенной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком, задыхающийся, страшный. Подбежав к придорожному рву, он одним махом перескочил через него, упал с разбега на передние ноги, но тотчас поднялся и, казалось, готов был уже скрыться в лесной чаще по другую сторону дороги, когда вдруг зловеще зажужжала тетива самострела, слышался свист стрелы, и зверь встал на дыбы, завертелся на месте, взревел и, как громом сраженный, повалился наземь.

Збышко выглянул из-за дерева, опять натянул тетиву и, готовясь пустить новую стрелу, подкрался к поверженному быку, который еще рыл задними ногами землю.

Однако, взглянув на зверя, он спокойно повернулся к своим и крикнул им издали:

– Так метко попал, что он даже под себя пустил!

– А чтоб тебя! – сказал, подъезжая, Зых. – Одной стрелой уложил!

– Да ведь близко, а стрела бьет со страшной силой. Посмотрите: не только жало, вся ушла под лопатку.

– Охотники уже недалеко, они, наверно, заберут его.

– Не дам! – отрезал Збышко. – Я его на дороге убил, а дорога ничья.

– А если аббат охотится?

– Если аббат, так пускай забирает.

Тем временем из лесу вырвалось десятка полтора собак. Завидев зверя, они с пронзительным визгом кинулись на него, сбились в кучу и стали грызться между собой.

– Сейчас и охотники подоспеют, – сказал Зых. – Смотри, вон они, только выехали из лесу повыше нас и еще не видят зверя. Эй! Эй! Сюда! Сюда! Вот он лежит! Вот!..

Внезапно Зых смолк, прикрыл рукой глаза и через минуту произнес:

– Господи Боже! Что это? Ослеп я, или мне мерещится?..

– Один на вороном коне впереди едет, – сказал Збышко.

Но Зых вдруг крикнул:

– Иисусе Христе! Да это, сдается, Ягенка!

И неожиданно заорал:

– Ягна! Ягна!..

И тут же погнал вперед своего меринка; но не успел он пустить его рысью, как Збышко увидел самое удивительное зрелище на свете. Сидя по-мужски на горячем вороном коне, к ним во весь опор скакала девушка с самострелом в руке и с рогатиной за плечами. От стремительной скачки волосы у нее распустились, к ним пристали шишки хмеля; лицо ее было румяно, как заря, рубашка на груди распахнута, а поверх рубашки накинута сердака овчиной наружу. Подскакав к путникам, девушка осадил коня; с минуту на лице ее изображалось то сомнение, то изумление, то радость, пока наконец она не уверилась окончательно, что все это не сон, а явь, и не крикнула тонким, еще детским голосом:

– Папуся! Миленький папуся!

В мгновение ока она соскользнула со своего вороного и, когда Зых тоже соскочил с коня, чтобы поздороваться с дочкой, бросилась отцу на шею. Долгое время Збышко слышал только звуки поцелуев и два слова: «Папуся! Януся! Папуся! Януся!» – которые отец с дочерью в восторге повторяли без конца.

К ним уже подъехали люди, подъехал и Мацько на телеге, а они все еще повторяли: «Папуся! Януся!» – и все еще обнимали друг друга. Когда они наконец нацеловались и наобнимались, Ягенка забросала отца вопросами:

– С войны возвращаетесь? Здоровы?

– С войны. С чего это мне не быть здоровым? А как ты? А младшие братишки? Надеюсь, здоровы, а? Иначе ты бы не скакала по лесам. Но что это ты здесь делаешь, дочка?

– Да вот, как видите, охочусь, – смеясь, ответила Ягенка.

– В чужих лесах?

– Аббат позволил. И псарей прислал мне с собаками.

Тут она повернулась к своей челяди:

– Ну-ка отгоните собак, а то изорвут шкуру!

А затем она обратилась к Зыху:

– Ах, как я рада, что вы приехали!.. У нас все благополучно.

– А ты думаешь, я не рад? – сказал Зых. – Дай-ка, дочка, я еще разок тебя чмокну!

И они стали целоваться, а когда кончили, Ягна сказала:

– Далеконько мы от дому отбились... Ишь куда заскакали, покуда травили этого зверину. Пожалуй, две мили гнали, кони и то притомились. Но какой могучий зубр, видали?.. Верных три стрелы я в него всадила, а последней, должно быть, и кончила.

– Всадить-то всадила, да не кончила: его вон тот молодой рыцарь подстрелил.

Ягенка откинула рукой прядь волос, спустившуюся на глаза, и бросила на Збышка быстрый и не особенно доброжелательный взгляд.

– Знаешь, кто это? – спросил Зых.

– Нет, не знаю.

– И не диво, что ты его не признала, вон как он вырос. Ну а, может, признаешь старого Мацька из Богданца?

– Боже мой! Так это Мацько из Богданца! – воскликнула Ягенка.

И, подойдя к телеге, она поцеловала Мацьку руку.

– Вы ли это?

– Я самый. Только вот на телеге, потому немцы меня подстрелили.

– Какие немцы? Война была с татарами. Уж это-то я знаю, – сколько я батюшку молила взять меня с собой.

– Война-то была с татарами, да мы на ней не были, мы со Збышком воевали тогда на Литве.

– А где же Збышко?

– Неужто ты его не признала? – засмеялся Мацько.

– Так это Збышко? – воскликнула девушка, снова бросив взгляд на юношу.

– Конечно!

– Ну, подставляй ему губы, вы ведь знакомы! – весело крикнул Зых.

Ягенка с живостью повернулась к Збышку, но вдруг попятилась и, закрывшись рукой, сказала:

– Мне стыдно...

– Мы ведь с малых лет знакомы! – заметил Збышко.

– Да! Хорошо знакомы. Я помню вас, хорошо помню. Лет восемь назад вы приехали как-то к нам с Мацьком, и покойница матушка принесла нам орехов с медом. Не успели старшие выйти из горницы, как вы ткнули мне кулаком в нос да сами орехи и съели!

– Сейчас он бы этого не сделал! – сказал Мацько. – Он и у князя Витовта бывал, и в краковском замке, так что знает придворный обычай.

Но тут Ягенка вспомнила совсем про другое и, обратившись к Збышку, спросила:

– Так это вы убили зубра?

– Я.

– Давайте поглядим, где у него торчит стрела.

– Да ее не увидишь, она вся ушла под лопатку.

– Брось, не спорь, – сказал Зых. – Все мы видели, как он подстрелил зубра, да то ли еще: ты знаешь, он вмиг натянул самострел без рукояти.

Ягенка в третий раз поглядела на Збышка, на этот раз с удивлением.

– Вы без рукояти самострел натянули? – спросила она.

Уловив в ее голосе недоверие, Збышко упер в землю самострел со спущенной тетивой, вмиг натянул его так, что заскрипела железная дуга, и, желая показать, что знает придворный обычай, преклонил колено и протянул самострел Ягенке.

Вместо того чтобы взять у него из рук самострел, девушка неожиданно покраснела, сама не зная почему, и стала торопливо завязывать под горлом домотканую сорочку, раскрывшуюся от быстрой езды по лесу.

XI

На другой день после приезда в Богданец Мацько и Збышко принялись за осмотр своих старых владений и вскоре убедились, что Зых из Згожелиц был прав, когда говорил, что на первых порах им дома придется туго.

С хозяйством дела шли не так уж плохо. Поля кое-где были возделаны прежними их мужиками или новыми поселенцами аббата. Когда-то в Богданце было гораздо больше земельных угодий; но в битве под Пловцами род Градов почти совсем погиб, стало не хватать работников, а после набега, учиненного силезскими немцами, и войны Гжималитов с Наленчами некогда плодородные нивы Богданца почти сплошь поросли лесом. Одному Мацьку поднять хозяйство было не под силу. Лет пятнадцать назад он тщетно пытался привлечь вольных крестьян из Кшесни, отдав им землю исполу, но они предпочли остаться на собственных клочках, чем возделывать чужую землю. Правда, ему удалось прельстить кое-кого из бродяжьего люда, захватить в войнах десятка полтора невольников, переженить и расселить всех их по хатам – и деревня таким образом стала подниматься. Но уж очень все это было трудно, и, как только представился случай, Мацько поспешил отдать Богданец в залог, справедливо полагая, что богатому аббату легче будет освоить землю, а он со Збышком добудут тем временем на войне невольников и денег. Аббат оказался дельным хозяином. Он увеличил на пять крестьянских семей рабочую силу, приумножил стадо скота и табун лошадей, построил амбар, плетеный коровник и такую же конюшню. Но в Богданце он постоянно не жил и о доме не заботился, так что Мацько, который иногда мечтал найти после возвращения усадьбу, обнесенную рвом и острогом, застал все в прежнем виде, с той лишь разницей, что углы у дома покосились и весь он так осел и врос в землю, что показался старику еще приземистей, чем раньше.

Дом состоял из обширных сеней, двух больших горниц с боковушами и кухни. Окна в горницах были затянуты пузырем, посредине в глинобитном полу был сложен очаг; топили по-черному, и дым выходил в щели в потолке. Этот совершенно почерневший потолок в лучшие времена служил коптильной, – на вбитых в балки колышках подвешивали тогда свиные, кабаньи, медвежьи и лосиные окорока, олени и серновые огузки, воловьи хребты и целые кольца колбас. Однако сейчас крючья в Богданце были так же пусты, как и полки вдоль стен, где в других шляхетских домах стояли оловянные и глиняные миски. Только под полками стены не казались такими голыми. Збышко велел слугам развесить там панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, рогатины, вилы, самострелы, рыцарские копья и, наконец, щиты, секиры да конские чепраки. Оружие и броня чернели от дыма, и их приходилось часто чистить, зато все было под рукой, да и шашель не точил древки копий, ложа самострелов и рукояти секир. Дорогие одежды предусмотрительный Мацько велел перенести в боковушу, которая служила ему спальней.

В передних горницах, под затянутыми пузырем окнами, стояли столы, сколоченные из сосновых досок, и такие же скамьи; хозяева за стол садились вместе с челядью. Не много было нужно людям, за годы войны отвыкшим от удобств; но в Богданце не хватало хлеба, муки и прочих припасов, особенно же утвари. Мужики принесли своим хозяевам все, что могли; но Мацько возлагал надежды главным образом на соседей, рассчитывая, что они, как всегда бывает в таких случаях, придут соседу на помощь; что до Зыха из Згожелиц, то он и в самом деле не обманулся в своих ожиданиях.

На другой день после приезда старик посиживал себе на бревне перед домом, наслаждаясь прекрасной осенней погодой, когда во двор на том же вороном коне въехала Ягенка. Слуга, который колол у плетня дрова, хотел помочь ей спешиться, но она вмиг сама спрыгнула на землю и подошла к Мацьку, запыхавшаяся от быстрой езды и румяная, как яблочко.

– Слава Иисусу Христу! Я приехала передать вам поклон от батюшки и справиться о вашем здоровье.

– Да не хуже, чем было в пути, – ответил Мацько. – Я хоть отоспался на своей постели.

– Очень уж у вас, должно быть, неудобно, а вы человек больной, вам уход нужен.

– Мы народ крепкий. Оно попервоначалу хоть и нет удобств, да и голода нету. Велели мы вола зарезать да пару овец, вот мяса у нас и вдосталь. Бабы мучицы да яиц принесли, маловато, правда, ну а все-таки хуже всего у нас с утварью.

– Я велела нагрузить для вас две телеги. На одной везут две постели и утварь, а на другой – всякий припас. Лепешки, муку, сало, сушеные грибы, бочонок пива да бочонок меда – всего понемножку, что только нашлось в доме.

Мацько, который всегда был рад любому прибытку, погладил Ягенку по голове и сказал:

– Спасибо и тебе, и твоему батюшке. Как разживемся, все отдадим.

– Что вы! Да разве мы немцы, чтоб дареное отбирать назад!

– Ну, тогда вдвойне спасибо. Говорил твой батюшка, что очень ты у него хозяйка хорошая. Так это ты цельный год одна заправляла всем в Згожелицах?

– Да пришлось!.. Коли вам еще что понадобится, так вы кого-нибудь из слуг пришлите, да потолковей, чтоб знал, чего надобно, – а то приедет еще такой дурень, что и знать толком не будет, зачем его послали.

Тут Ягенка стала украдкой поглядывать по сторонам; заметив это, Мацько заулыбался.

– Кого это ты ищешь? – спросил он.

– Да нет, никого!

– Я Збышко пришлю поблагодарить тебя с батюшкой за подарок. Ну как, пришелся тебе Збышко по вкусу?

– Да я не присматривалась!

– А ты присмотришь, вот он и сам идет.

От водополя в самом деле шел Збышко; увидев Ягенку, он ускорил шаг. На нем был лосиный кафтан и круглая поярковая шапочка, какие надевают под шлем, волосы, ровно подстриженные над бровями, не были убраны под сетку и золотыми кудрями рассыпались по плечам; Збышко шел скорым шагом, рослый, пригожий, прямо оруженосец из знатного дома.

Ягенка совсем от него отвернулась, желая показать, что она приехала только к Мацьку; но Збышко весело поздоровался с нею и, взяв ее руку, поднес к губам, несмотря на сопротивление девушки.

– С чего это ты мне руку целуешь? – спросила она. – Разве я ксендз?

– Не противьтесь! Это такой обычай.

– Да коли б он тебе и другую руку поцеловал за то, что ты привезла, – вмешался Мацько, – и то не было б много.

– Что привезла? – спросил Збышко, озираясь и ничего не видя, кроме вороного коня, стоявшего на приколе.

– Телеги еще не приехали, скоро будут, – ответила Ягенка.

Мацько стал перечислять все, что девушка привезла, ничего при этом не пропуская; когда он вспомнил про две постели, Збышко сказал:

– Да я бы и на шкуре зубра поспал, но спасибо вам за то, что и про меня не забыли.

– Это не я, а батюшка, – краснея, ответила девушка. – Коли вам на шкуре лучше, что ж, никто не неволит...

– Я привык на чем придется. На поле боя случалось спать с убитым крестоносцем в головах.

– Неужто вам случилось убить крестоносца? Да нет, вряд ли!

Збышко вместо ответа рассмеялся.

– Побойся ты, девушка, Бога! – воскликнул Мацько. – Ты его совсем не знаешь! Ничего он другого не делал, только немцев бил, так что стон стоял. Он готов драться на копьях, на секирах, как угодно, а уж коли завидит издали немца, нет ему удержу, так и рвется в бой. В Кракове он даже хотел напасть на посла Лихтенштейна и за это чуть не поплатился головой. Вот он какой молодец! Я тебе и про двух фризов расскажу, у которых мы захватили и людей, и такую богатую добычу, что половины ее хватило бы на выкуп Богданца.

И Мацько стал рассказывать о поединке с фризскими рыцарями, а затем и о других приключениях, которые с ними случались, и о других подвигах, которые им пришлось совершить. Из-за стен и в открытом поле бились они с самыми славными рыцарями, какие только живут в чужих краях. Бились с немцами, бились с французами, бились с англичанами и бургундцами. Случалось бывать им в таких жестоких битвах, когда кони, люди, оружие, немцы и перья – все мешалось в кучу. А чего только они при этом не навидались! Видали они и замки крестоносцев из красного кирпича, и литовские деревянные городки и храмы, каких здесь не встретишь во всей околице, и города, и дремучие леса, где по ночам жалобно стонали изгнанные из капищ литовские божки, и всякие иные чудеса, и, когда дело доходило до драки, Збышко всегда был впереди, так что самые славные рыцари не могли на него надивиться.

Ягенка присела на бревно рядом с Мацьком и, раскрыв рот, слушала рассказ старика и так вертела головкой то в сторону Мацька, то в сторону Збышка, точно она была у нее на шарнирах; при этом глаза девушки все с большим восхищением останавливались на молодом рыцаре. Когда Мацько наконец кончил, она вздохнула и сказала:

– И какое это счастье, – уродиться хлопцем!

Но Збышко, который, слушая рассказ Мацька, тоже все приглядывался к Ягенке, думал, видно, о другом, потому что неожиданно сказал:

– Какая же вы красавица!

То ли с досадой, то ли с грустью Ягенка ответила:

– Уж будто вы краше не видывали.

Збышко, положив руку на сердце, мог сказать ей, что не много случалось ему видеть таких красавиц: она просто кипела здоровьем, силой и молодостью. Старый аббат не зря говорил, что Ягенка похожа и на сосенку, и на калину. Все в ней было красиво: и стройный стан, и широкие плечи, и точеная грудь, и алые губы, и быстрые голубые глаза. И оделась она в этот раз получше, чем в лесу на охоте. На шее у нее были красные бусы, шубка, крытая зеленым сукном, была раскрыта на груди, юбка домотканая в полоску, сапожки новые. Даже старый Мацько обратил внимание на красивый наряд девушки и, с минуту поглядев на нее, спросил:

– Что это ты разрядилась, как на праздник?

Но она вместо ответа крикнула:

– Едут, едут!..

Когда телеги въехали во двор, она побежала навстречу, а за нею последовал Збышко. К большому удовольствию Мацька, телеги разгружали до самого заката; каждую вещь старик рассматривал по отдельности и при этом знай похваливал Ягенку. Уже совсем смеркалось, когда девушка стала собираться домой. Когда она хотела сесть на коня, Збышко неожиданно подхватил ее, и не успела она слово вымолвить, как он поднял ее вверх и усадил в седло. Ягенка зарумянилась, как алая зорька, и, повернувшись к нему лицом, сказала вполголоса:

– Какой же вы богатырь!..

Не заметив в темноте ни румянца ее, ни смущения, Збышко рассмеялся и спросил:

– А зверей вы не боитесь?.. Ведь уж ночь!

– На телеге лежит рогатина... подайте мне ее.

Збышко пошел к телеге, достал рогатину и подал ее Ягенке.

– Будьте здоровы! – попрощался он с девушкой.

– Будьте здоровы!

– Спасибо вам за все! Завтра, а нет, так послезавтра я приеду спасибо сказать и вам, и вашему батюшке за ваше доброе сердце.

– Приезжайте! Мы будем вам рады. Ну, трогай!

И, тронув коня, она через минуту скрылась в придорожных кустах.

Збышко вернулся к дяде.

– Вам домой пора.

Но Мацько, не поднимаясь с бревна, сказал:

– Эх! Что за девушка! Все кругом от нее будто стало светлей!

– Это верно!

На минуту воцарилось молчание. Глядя, как в небе зажигаются звезды, Мацько, казалось, о чем-то раздумывал, затем снова сказал будто про себя:

– И ласкова-то, и хозяйка хорошая, а ведь ей всего пятнадцать лет...

– Да, – сказал Збышко, – старый Зых бережет ее как зеницу ока.

– Он говорил, что даст за ней Мочидолы, а там на лугах пасется табунок кобылиц с жеребьями.

– Не в мочидольских ли лесах страшные болота?..

– Зато там бобровьи гоны.

И снова воцарилось молчание. Некоторое время Мацько искоса поглядывал на Збышка, а затем спросил:

– Что это ты так призадумался? Что пригорюнился?

– Да так... знаете... поглядел на Ягенку, и так мне Дануська вспомнилась, даже сердце защемило.

– Пойдем-ка домой, – сказал на это старик. – Поздно уж.

Он с трудом поднялся и, опершись на Збышка, прошел с ним в боковушу.

Мацько так торопил Збышка, что тот на другой же день поехал в Згожелицы. Старик настоял, чтобы племянник для пущей торжественности взял с собою двоих слуг и оделся понарядней, принеся тем самым дань уважения Зыху и выказав ему свою признательность. Збышко уступил старику и уехал, разрядившись, как на свадьбу, все в тот же добытый в бою полукафтан из белого атласа, расшитый золотыми грифами, с золотой оторочкой по низу. Зых принял его с распростертыми объятиями, песни пел и веселился, а Ягенка, переступив порог горницы и увидев молодого рыцаря, остановилась как вкопанная и чуть не уронила баклажку с вином, – ей почудилось, что это к ним явился сам королевич. Девушка так заробела, что за столом сидела в молчании, только то и дело глаза протирала, словно хотела очнуться ото сна. Неискушенный Збышко решил, что она, по неизвестной ему причине, не рада его приезду, и беседовал только с Зыхом, превознося щедрость соседа и расхваливая его владения, которые и в самом деле вовсе не были похожи на Богданец.

Во всем были видны достаток и богатство. Окна в горницах были из рога, остроганного и отшлифованного так тонко, что он был прозрачен почти как стекло. Вместо очага посреди горницы, по углам стояли большие печи с шатрами. Пол из лиственничных досок был чисто вымыт, на стенах – оружие и множество мисок, сверкавших, как солнце, да красивых резных ложечниц с рядами ложек, из которых две были серебряные. Кое-где висели парчовые узорчатые ковры, добытые на войне или приобретенные у коробейников. Под столами лежали огромные рыжие турьи шкуры да шкуры зубров и кабанов. Зых с удовольствием показывал Збышку свои богатства, то и дело приговаривая, что все это дело рук Ягенки. Он повел Збышка и в боковушу, где все пропахло живицей и мятой, а под потолком висели целые связки волчьих, лисьих, куньих и бобровых шкур. Он показал Збышку сушильню для сыра, кладовые с воском и медом, бочки с мукой, кладовые с сухарями, пенькой и сушеными грибами. Затем он повел его в амбары, коровники, конюшни и хлевы, в сараи, где стояли телеги и хранились охотни-

чь принадлежности и сети, и так ослепил его своим богатством, что Збышко, вернувшись к ужину, не мог скрыть своего изумления.

– Жить не нажиться в ваших Згожелицах, – сказал он хозяину.

– И в Мочидолах у нас почти что такие порядки, – заметил Зых. – Ты помнишь Мочидолы? Это по дороге на Богданец. В старину наши отцы о меже спорили и вызовы посылали друг дружке на поединок, ну а я уж ссориться не стану.

Он поднял кубок меду и, чокнувшись со Збышком, спросил:

– А попеть тебе неохота?

– Нет, – ответил Збышко, – мне вас любопытно послушать.

– Згожелицы, слышь ты, медвежатам достанутся. Только бы они потом не передрались из-за них...

– Каким медвежатам?

– Да сынишкам моим, братишкам Ягенки.

– Да, им зимой лапу сосать не понадобится.

– Что правда, то правда. Ну и Ягенке в Мочидолах найдется кусочек салца.

– Да уж наверно!

– Что это ты не ешь, не пьешь? Налей-ка нам, Ягенка!

– Да нет, я и ем, и пью вволю.

– Тяжело станет, так ты распусти пояс. Хорош у тебя пояс! Вы на Литве, верно, тоже взяли богатую добычу?

– Грех жаловаться, – ответил Збышко, пользуясь случаем, чтобы показать, что шляхтичи из Богданца тоже не какая-нибудь мелкая сошка. – Часть добычи мы продали в Кракове и выручили сорок гривен серебром...

– Что ты говоришь! Да за такие деньги можно целую деревню купить!

– У нас была миланская броня, так дядя ее продал, думал, смерть уж у него за плечами, а вы знаете, миланской броне...

– Знаю. Цены нет. Выходит, на Литву стоит идти. А я хотел когда-то, да побоялся.

– Кого? Крестоносцев?

– Э, чего бы я стал их бояться? Покуда тебя не убили, страшиться нечего, ну а убили, так какие уж тут страхи. Я ихних божков боялся, нечисти всякой. Там в лесах они так и кишат.

– Куда же им деваться, коли капища их пожгли?... Когда-то они жили богато, а теперь одними грибами да муравьями кормятся.

– А ты видал их?

– Я не видал, да слыхал, что другие видели... Высунет такой божок из-за дерева косматую лапищу и показывает тебе: дескать, подай...

– И Мацько про это рассказывал, – вмешалась Ягенка.

– Да! Он по дороге и мне про это говорил, – прибавил Зых. – Да и не диво! Взять хотя бы и нас, живем мы как будто в христианской вере, а порой и у нас на болоте кто-то смеется, да и дома, хоть и бранятся ксендзы, а все лучше оставлять этой нечисти на ночь миску с едой, иначе так станет в стену скрестись, что глаз не сомкнешь... Ягенка, доченька... поставь-ка миску у порога!

Ягенка взяла глиняную миску, в которой было полно клецок с сыром, и поставила ее у порога.

– Ксендзы бранятся, – заметил Зых, – поносят нас. Да ведь Христа от клецок не убудет, а нечисть, коли она сыта и довольна, убережет дом и от огня и от вора.

Тут он снова повторил Збышку:

– Ты бы распустил пояс да песенку спел.

– Уж лучше вы спойте, я вижу, вам давно хочется, а то, может, панна Ягенка что-нибудь споет?

– Давайте петь по очереди, – воскликнул обрадованный Зых. – Есть у меня тут слуга, он на дудке будет нам вторить. Позвать слугу!

Позвали слугу, тот уселся на скамеечке, сунул в рот свою «пищалку» и, расположив на ней пальцы, уставился на присутствующих в ожидании, кому же ему придется вторить.

Все стали спорить, никто не хотел быть первым. Наконец Зых велел начать Ягенке, и хотя девушка очень стеснялась Збышка, однако поднялась со скамьи, спрятала руки под фартук и затянула песню:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!..

Широко раскрыв глаза, Збышко вскочил с места и крикнул громовым голосом:

– А вы откуда знаете эту песню?

Ягенка воззрилась на него в изумлении:

– Да ведь ее все поют... Что вы?

Зых решил, что Збышко хватил лишнего, и, повернувшись к нему, весело сказал:

– Распусти пояс! Сразу легче станет!

Но Збышко еще с минуту времени стоял с изменившимся лицом, а затем, совладав с собою, сказал Ягенке:

– Простите. Вспомнилось мне вдруг одно дело. Пойте же.

– А может, вам невесело слушать?

– Что вы! – ответил он дрогнувшим голосом. – Да я б эту песню всю ночь напролет слушал.

Он сел и, прикрыв рукою глаза, умолк, словечка больше не уронил.

Ягенка спела другой куплет, но, кончив, заметила, что у Збышка по пальцам катится большая слеза.

Она с живостью подвинулась к молодому рыцарю, села рядом и, легонько толкнув его локтем, спросила:

– Что с вами? Я не хочу, чтобы вы плакали. Да скажите же, что с вами?

– Ничего, ничего, – ответил Збышко со вздохом. – Долго рассказывать... Что было, то прошло. Вот я и развеселился...

– А может, вы бы выпили сладкого вина?

– Обходительная девка! Да что же это вы выкаете друг дружке? – воскликнул Зых – Говори ему: «ты, Збышко», а ты ей: «ты, Ягенка». Ведь вы с малых лет знакомы...

Затем он обратился к дочери:

– А что он когда-то отколотил тебя, это пустое!.. Сейчас он этого не сделает.

– Не сделаю! – весело подхватил Збышко. – Пускай теперь она меня отколотит, коли есть охота.

Желая совсем развеселить Збышка, Ягенка сжала кулачок и, смеясь, стала в шутку бить его.

– Вот тебе за мой разбитый нос! Вот тебе! Вот тебе!

– Вина! – крикнул, разгулявшись, хозяин Згожелиц.

Ягенка сбегала в кладовую и через минуту принесла ковш вина, два красивых кубка с вытисненными на них серебряными цветами, работы вроцлавских золотых дел мастеров, и две головки сыра, от которых еще издали шел сырнй дух.

Когда взору Зыха, у которого уже шумело в голове, представилось это зрелище, он окончательно расчувствовался, придвинул к себе ковш, прижал его к груди и, решив, видно, что это Ягенка, заговорил:

– Моя ты доченька! Моя сироточка! Что я, бедный, стану делать в Згожелицах, как тебя возьмут у меня, что я стану делать!..

– А придется вам вскорости отдавать ее! – воскликнул Збышко.

Но расчувствовавшийся было Зых уже смеялся:

– Ха-ха! Девке пятнадцать лет, а она уже к парням льнет!.. Как завидит издалека, так ногами и засучит.

– Батюшка, я уйду! – сказала Ягенка.

– Не уходи! Мне хорошо с тобой!..

Затем он стал таинственно подмигивать Збышку:

– Двое их повадились к ней: молодой Вильк, сын старого Вилька из Бжозовой, и Чтан⁴⁹ из Рогова. Да если б они тебя здесь застали, тотчас бы взьелись и стали грызться с тобой, как грызутся друг с дружкой.

– Эва! – воскликнул Збышко.

Затем, обратившись к Ягенке на ты, как велел Зых, он спросил у нее:

– А который тебе люб?

– Да ни тот ни другой.

– Вильк сердитый парень! – заметил Зых.

– Пускай на других воет!⁵⁰

– А Чтан?

Ягенка рассмеялась.

– У Чтана, – сказала она Збышку, – кудлы на голове все равно как у козла, глаз даже не видно, а сала на нем как на медведе.

Тут Збышко хлопнул себя по голове, словно что-то внезапно вспомнив, и сказал:

– Ах да! Уж коли вы так добры к нам, так нельзя ли попросить у вас медвежьего сала – может, найдется в доме, дяде полечиться нужно, а в Богданце я не нашел.

– Было, – ответила Ягенка, – да слуги вынесли во двор луки смазывать, а собаки все выжрали... Экая жалость!

– Совсем ничего не осталось?

– Все дочиста вылизали!

– Что ж, ничего не поделаешь, придется завтра поискать в лесу.

– Вы облаву устройте, медведи в лесу встречаются, а коли вам охотничье снаряжение нужно, так мы дадим.

– Где мне ждать! Пойду на ночь под борти.

– Возьмите с собой человек пять охотников. Между ними есть дельные парни.

– Не пойду я с кучей народу, только зверя мне спугнут.

– Как же вы пойдете? С самострелом?

– Что в лесу в потемках делать с самострелом? Месяц еще не родился. Возьму зазубренные вилы да хороший топор и завтра пойду один.

Ягенка на минуту умолкла, на лице ее изобразилось беспокойство.

– В прошлом году, – сказала она, – пошел вот так наш охотник Бездух, и медведь задрал его. Опасное это дело: ночью медведь как увидит человека, особенно около бортей, тотчас становится на задние лапы.

– Ну, если б он стал убегать, так его тогда и не убить бы, – возразил Збышко.

⁴⁹ Уменьшительное от Пшецлав. – *Примеч. авт.*

⁵⁰ Вильк (wilk) – волк (*польск.*).

Тем временем Зых, который успел уже маленько вздремнуть, неожиданно проснулся и запел:

Тебя, Куба, ждет работа,
А мне, Мацьку, неохота,
В поле ты пахать пустое,
С Касей в жито я густое!
Гоп! Гоп!

Затем он обратился к Збышку:

– Слышь ты, двое их у нее: Вильк из Бжозовой да Чтан из Рогова... а ты...

Но Ягенка, опасаясь, как бы Зых не сказал чего лишнего, торопливо подошла к Збышку и спросила:

– Так когда ты пойдешь? Завтра?

– Завтра после захода солнца.

– А к каким бортям?

– К нашим, к богданецким, неподалеку от вашей межи, у Радзиковского болота. Мне говорили, будто там легко встретить мишку.

XII

Збышко как задумал, так на другой день и отправился на медведя, потому что Мацьку становилось все хуже. Сперва от радости старик было ожил и занялся даже домашними делами, но на третий день у него снова открылся жар и начались такие боли в боку, что он вынужден был слечь в постель. В лес Збышко сходил сперва днем, он осмотрел борти, заметил поблизости огромный след на болоте и поговорил с бортником Вавреком, который летом ночевал неподалеку в шалаше с парой свирепых подгальских псов, но с наступлением осенних холодов уже должен был перебраться в деревню.

Оба они со Збышком разбросали шалаш, прихватили с собою собак, а по дороге там и тут смазали медом стволы деревьев, чтобы приманить запахом зверя; затем Збышко вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для тепла он надел лосиную безрукавку, а на голову, чтобы медведь не содрал ему кожу, натянул сетку из железной проволоки; с собою он прихватил крепко окованные двузубые вилы с зазубринами и широкую стальную секиру на дубовой рукояти подлиннее, чем у плотников. К вечернему удою он уже был у цели и, выбрав местечко поудобней, перекрестился, засел в засаду и стал ждать.

В просветах между ветвями ельника сквозили красные лучи заходящего солнца. В вершинах сосен, каркая и хлопая крыльями, летали вороны; кое-где пробегали к воде зайцы, и под лапками их шуршали пожолклые кустики ягод и опавшая листва; порой по молодому буку скользила юркая куница. В чаще еще слышался постепенно умолкавший птичий гомон.

Солнце уже совсем закатывалось за горизонт, а бор все еще не стихал. Вскоре мимо Збышка со страшным шумом и хрюканьем прошло поодаль стадо диких кабанов, затем, положив друг дружке головы на круп, длинной вереницей пронеслись лоси. Сухие ветви трещали у них под копытами, и лес стонал, а они, отливая на солнце рыжей шерстью, скакали к болоту, где ночью им было спокойнее и безопасней. Наконец в небе зажглась заря, верхушки сосен словно запылали в огне, и кругом все медленно стало затихать. Лес погружался в сон. Снизу, от земли, поднималась тьма и устремлялась ввысь к пылающей заре, которая тоже стала таять, хмуриться, меркнуть и гаснуть.

«Сейчас, – подумал Збышко, – куда не завоют волки, все будет тихо».

Однако он пожалел, что не взял с собою самострела, которым легко мог уложить дикого кабана или лося. Меж тем от болота некоторое время доносились еще какие-то приглушенные звуки, как будто тяжелые вздохи и посвист. Збышко с опаской поглядывал в сторону этого болота, где жил когда-то в землянке мужик Радзик, который бесследно пропал вместе с семьей, словно сквозь землю провалился. Одни говорили, будто его угнали с семьей разбойники, но другие замечали потом около землянки какие-то странные, не то человеческие, не то звериные следы и с сомнением покачивали головой, подумывая даже о том, не позвать ли ксендза из Кшесни освятить землянку. До этого дело не дошло, так как в землянке никто не захотел поселиться и халупу эту, вернее, глину на хворостяных стенах, размыли со временем дожди; однако само место пользовалось дурной славой. Правда, бортник Ваврек, который летом ночевал здесь в шалаше, не обращал на это внимания, но о самом Вавреке люди тоже разное болтали. Вооруженный топором и вилами, Збышко не боялся диких зверей, но он с беспокойством думал о нечистой силе и обрадовался, когда все звуки на болоте затихли.

Догорели последние отблески заката, и спустилась глубокая ночь. Ветер умолк, не слышно стало и обычного шума в верхушках сосен. Порой то там, то тут падала шишка, рождая в немом безмолвии сильный и гулкий отзвук, но потом снова воцарялась такая тишина, что Збышко слышал собственное дыхание.

Он долго сидел так, раздумывая сперва о медведе, который вот-вот мог прийти сюда, а потом о Данусе, о том, как уезжала она в дальний край с мазовецким двором. Он вспомнил,

как поднял ее на руки в минуту расставания с нею и княгиней и как у него по щеке катились ее слезы, вспомнил ее ясное личико, ее непокрытую голову, ее венки из васильков, ее песни, ее красные с длинными носками башмачки, которые он целовал, прощаясь; вспомнил все, что произошло с той минуты, как они познакомились, и так жалко стало ему, что нет ее рядом, такая овладела тоска по ней, что, предавшись печали, он совсем позабыл, что сидит в лесу и подстерегает зверя в засаде, и стал говорить про себя: «Я поеду к тебе, потому что нет мне жизни без тебя».

Он чувствовал, что это правда, что он должен ехать в Мазовию, иначе зачахнет в Богданце. Ему вспомнился Юранд и странное его упорство, он подумал, что тем более надо ехать, чтобы узнать, какая за этим кроется тайна, какие преграды стоят на его пути и нельзя ли убрать их, вызвав кого-нибудь на смертный бой. Наконец ему привиделось, что Дануся протягивает к нему руки, зовет его: «Ко мне, Збышко, ко мне!» Как же не ехать к ней!

Он не спал, однако так явственно видел ее, будто она явилась ему или приснилась во сне. Едет сейчас Дануся, сидя рядом с княгиней, наигрывает ей на своей маленькой лютне и напевает, а сама думает о нем. Думает о том, что увидит его вскорости, а может, озирается, не мчится ли он вскачь следом за ними, – а он тут вот, в темном бору.

Тут Збышко очнулся, и не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что позади него в отдалении послышался какой-то шорох.

Он крепче сжал вилы в руках и, насторожась, стал прислушиваться.

Шорох слышался все ближе, скоро он стал совершенно явственным. Под чьей-то осторожной ногой трещали сухие ветки, шуршали кустики ягод и опавшая листва... Кто-то шел.

По временам шорох замирал, будто зверь останавливался под деревом, и тогда наступала такая тишина, что у Збышка начинало звенеть в ушах, затем снова раздавались медленные, осторожные шаги. Кто-то приближался с такими предосторожностями, что Збышко просто пришел в изумление.

«Косолапый, надо думать, боится собак, которые жили здесь у шалаша, – сказал он про себя, – но, может, это волк меня учуял».

Меж тем шаги затихли. Однако Збышко явственно слышал, что кто-то остановился шагах в двадцати – тридцати от него и как будто присел. Он оглянулся раз, другой, но, хотя деревья рисовались во мраке, ничего не мог разглядеть. Ему оставалось лишь ждать.

Ждать пришлось так долго, что Збышко опять растерялся.

«Медведь не пришел бы сюда, под борть, спать, а волк давно бы меня учуял и тоже не стал бы ждать до утра».

И вдруг холод ужаса пробежал у него по телу.

А что, если это вылезла из болота какая-нибудь нечисть и подбирается сзади к нему? А что, если его схватят вдруг ослизлые руки утопленника или заглянут в лицо зеленые глаза упыря; что, если за спиной у него раздастся чей-то страшный хохот или из-за сосны покажется синяя голова на паучьих ножках?

Он почувствовал, что под железным колпаком волосы у него поднимаются дыбом.

Но через минуту шорох раздался уже впереди, на этот раз еще более явственный. Збышко вздохнул с облегчением. Правда, он подумал, что «нечисть» обошла его и теперь приближается спереди. Но это было лучше. Он половчей ухватил вилы, тихо поднялся и стал ждать.

Вдруг он услышал над головой шум сосен, ощутил на лице сильное дуновение ветра со стороны болота и тотчас уловил запах медведя.

Сомнений не было: это шел косолапый!

Страх мгновенно пропал; нагнув голову, Збышко напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, отчетливые, запах становился все резче; вскоре послышалось сопение и ворчание.

«Только бы не двое!» – подумал Збышко.

В то же мгновение он увидел перед собой огромный темный силуэт зверя: идя по ветру на запах меда, медведь до последней минуты не учуял человека.

– Сюда, косолапый! – крикнул Збышко, выступив из-за сосны.

Словно пораженный этим неожиданным явлением, медведь издал короткий рык; однако он подошел уже слишком близко, чтобы спастись бегством. Тогда он мгновенно поднялся на задние лапы, расставив передние так, словно хотел заключить Збышка в объятия. Збышко только этого и ждал – он молниеносно бросился вперед и, напрягши мышцы своих могучих рук и навалившись всей тяжестью тела на вилы, вонзил их в грудь зверю.

Весь бор содрогнулся теперь от дикого рева. Медведь схватился лапами за вилы, стараясь вырвать их, но зазубрины на острых концах впились ему в грудь, он почувствовал боль и взревел пуще прежнего. Тогда он попытался облапить Збышка, но нажал на вилы, и они еще глубже воткнулись ему в грудь. Збышко не знал, достаточно ли глубоко вонзилось острие, и не отпускал рукояти. Человек и зверь стали дергать друг друга и бросаться из стороны в сторону. Бор сотрясаясь от рева, в котором звучали ярость и отчаяние.

Збышко хотел схватиться за секиру, но для этого надо было сперва воткнуть в землю другой острый конец вил, а меж тем медведь, точно поняв, в чем дело, ухватился лапами за рукоять и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение, дергал ее вместе со Збышком и не давал таким образом «пригвоздить» себя к земле. Страшный бой затягивался, и Збышко понял, что ему в конце концов изменят силы. Кроме того, он мог упасть, а это грозило ему неминуемой гибелью; тогда, собрав все свои силы и напрягши мышцы рук, он расставил ноги и, изогнув спину дугой, чтобы не упасть навзничь, стал повторять сквозь стиснутые зубы:

– Не тебе смерть, так мне!..

И такой гнев овладел вдруг им, такая ярость, что в эту минуту он и впрямь предпочел бы погибнуть сам, чем выпустить зверя живым. Но тут он зацепился ногой за корень сосны, пошатнулся и, наверное, упал бы, если бы в то же мгновение перед ним не выросла темная фигура, и другие вилы не «пригвоздили» зверя к земле, и чей-то голос не крикнул вдруг над самым его ухом:

– Руби его!..

Збышко был настолько поглощен схваткой с медведем, что ни на мгновение не задумался над тем, откуда же пришла эта неожиданная помощь; схватив секиру, он нанес зверю страшной силы удар. Под тяжестью туши треснули вилы, и, корчась в последних содроганиях, медведь, словно сраженный громом, повалился наземь и захрипел. Однако он тотчас затих. Воцарилась такая тишина, что слышно было только тяжелое дыхание Збышка; ноги у юноши подкосились, и он прислонился к сосне, чтобы не упасть. Только через минуту он поднял голову, покосился на стоявшую рядом фигуру и испугался, подумав, что это, может быть, не человек.

– Кто ты? – спросил он в тревоге.

– Ягенка! – ответил тонкий женский голос.

Збышко онемел от изумления, он глазам своим не поверил. Однако сомнений не могло быть – он снова услышал голос Ягенки:

– Я высеку огонь...

Раздался удар огнива о камень, посыпались искры, и при их неверном свете Збышко увидел белый лоб, темные брови и выпяченные губы девушки, которая дула на тлеющий трут. Только теперь он подумал, что Ягенка пришла в лес, чтобы помочь ему, что без ее вил дело для него могло бы кончиться плохо, и в приливе благодарности, не долго думая, обнял ее и поцеловал в обе щеки.

Трут и огниво выпали у нее из рук.

– Оставь! Что ты? – сказала она приглушенным голосом, однако не отодвинулась и даже как будто случайно коснулась губами губ Збышка.

Он выпустил ее из объятий и сказал:

– Спасибо тебе. Не знаю, что было бы со мной без тебя. А Ягенка, присев в темноте на корточках, чтобы найти огниво и трут, стала объяснять ему:

– Я боялась за тебя, потому что Бездух тоже пошел с вилами и секирой и медведь задрал его. Случись какая-нибудь беда, Мацько страх как горевал бы, а он и так на ладан дышит... Ну, вот я взяла вилы и пошла...

– Так это ты пряталась там, за соснами?

– Я.

– А я думал, нечистый.

– Да и я очень боялась, тут ведь около Радзиковского болота ночью без огня страшно.

– Почему же ты не окликнула меня?

– Боялась, что ты меня прогонишь.

И она снова начала высекать огонь, затем положила на трут пук сухой конопляной костры, которая тотчас вспыхнула ярким огнем.

– У меня две щепки, – сказала она, – а ты набери поскорей валежника, разожжем костер.

Через минуту у них запылал веселый костер, и в отблесках пламени из мрака выступила огромная рыжая туша медведя, лежавшего в луже крови.

– Каков зверина! – не без хвастовства сказал Збышко.

– Голова совсем разрублена! Господи!

Ягенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы проверить, жирен ли зверь, затем поднялась с веселым лицом.

– Сала хватит на добрых два года!

– А вилы сломаны, погляди!

– То-то и оно, что я скажу дома?

– А что?

– Да ведь отец ни за что не пустил бы меня в лес, вот я и должна была ждать, покада все улягутся спать.

Через минуту она прибавила:

– Не рассказывай, что я тут была, а то надо мной станут смеяться.

– Я провожу тебя до дому, а то еще волки нападут, вил-то у тебя нет.

– Ладно.

Так беседовали они некоторое время, сидя при веселом огне костра над убитым медведем, оба подобные юным лесным духам.

Збышко поглядел на красивое лицо Ягенки, освещенное отблеском пламени, и сказал с невольным восхищением:

– Другой такой девушки, как ты, верно, на всем свете не сыщешь. Тебе бы на войну идти!

Она на мгновение остановила на нем свой взор, а затем ответила с грустью:

– Знаю... только ты не смейся надо мной.

ХІІІ

Ягенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, и Мацько с удовольствием выпил первую кварту, потому что оно было свежее, не пригорело и пахло дягилем, которого девушка, знавшая толк в снадобьях, прибавила в горшок сколько требовалось. Мацько воспрянул духом и стал надеяться на выздоровление.

– Этого-то мне и не хватало, – говорил он. – Как весь заплывешь жиром, так, может, и этот чертов осколок из тебя вылезет.

Другие кварталы уже не показались ему такими вкусными, однако для здоровья он продолжал пить сало. Ягенка тоже его подбодряла:

– Будете здоровы. Билюду из Острога глубоко в затылок загнали звенья кольчуги, а от сала они вышли наружу. Как только рана откроется, надо смазать ее бобровой струей.

– А есть у тебя бобровая струя?

– Есть. А свежая понадобится, так мы пойдем со Збышком на бобровые гоны. Бобра добыть нетрудно. Однако не мешало бы вам дать обет какому-нибудь святому, целителю ран.

– Я уж думал об этом, да толком не знаю какому. Георгий Победоносец – покровитель рыцарей, он хранит воина от опасности, а в нужде придает ему и храбрости; толкуют, будто он часто сам становится на сторону правых и помогает им бить неугодных Богу. Но тот, кто сам до драки охоч, вряд ли захочет раны лечить, для этого есть, верно, другой святой, которому Георгий Победоносец поперек дороги не станет. У каждого святого на небесах свое место и свое хозяйство – это дело известное! И никто в чужие дела носа не сует, потому от этого между ними может быть раздор, а святым на небесах не пристало ссориться да драться... Вот Косьма да Дамиан тоже великие святые, им лекари молятся о том, чтоб на свете болезни не вывелись, а то им есть нечего будет. А вот святая Аполлония, та от зубов помогает, а святой Либерий исцеляет от камней, – но это все не то! Приедет аббат, я у него спрошу, к кому мне толкнуться, – он постиг небесные таинства, это тебе не какой-нибудь завалящий ксендз, который мало что понимает, хоть макушка у него и выбрита.

– А не дать ли вам обет самому Иисусу Христу?

– Что говорить, он выше всех. Но ведь это все едино, что поехать мне в Краков к самому королю и пожаловаться, что твой, к примеру, отец избил моего мужика. Что бы мне сказал король? «Я, – сказал бы он, – владыка всего королевства, а ты лезешь ко мне со своим мужиком! Нет у тебя на него управы? Не можешь пойти в суд к моему каштеляну и помощнику?» Иисус Христос владыка всего света – понимаешь? – а для маловажных дел у Него есть святые.

– Вот что я вам скажу, – сказал Збышко, который подошел к собеседникам в конце разговора, – дайте обет нашей покойнице королеве сходить, коли она поможет, на поклонение в Краков, к ее гробнице. Разве мало чудес совершила она на наших глазах? Зачем искать чужих святых, когда есть своя куда лучше их...

– Да, кабы знать, что она целительница ран!

– А хоть бы и нет! Ни один святой не посмеет косо на нее поглядеть, а посмеет, так еще от Господа Бога получит на орехи – это ведь не какая-нибудь простушка, а польская королева...

– Она к тому же целую языческую страну крестила, – подхватил Мацько. – Это ты умно сказал. Уж, верно, она председатель в совете праведных, куда там с нею тягаться какому-нибудь простецу. Так я и сделаю, как ты советуешь, ей-ей!

Этот совет понравился и Ягенке, которая не могла надивиться уму Збышка, и в тот же вечер Мацько дал торжественный обет: с этой поры он с еще большей надеждой стал пить медвежье сало, ожидая со дня на день неперменного выздоровления. Однако прошла неделя, и он стал терять надежду. Он говорил, что от сала у него урчит в животе, а под нижним ребром

растет шишка. Прошло десять дней, и старику стало еще хуже: шишка вздулась и покраснела, а сам Мацько очень ослабел и, когда у него опять поднялся жар, стал готовиться к смерти.

Однажды ночью он неожиданно разбудил Збышка.

– Засвети-ка поскорее лучину, – сказал старик, – что-то со мной творится, не знаю только, хорошее ли или худое.

Збышко вскочил с постели и, не высекая огня, раздул в смежной с боковушкой горнице огонь, зажег от него смолистую лучинку и вернулся к Мацьку.

– Что с вами?

– Что со мной? Шишка у меня прорвалась, верно, осколок лезет! Ухватил я его, а вытащить никак не могу! Слышу только, под ногтями скрипит и звякает...

– Ну конечно, осколок! Ухватите его покрепче и тащите.

Мацько извивался и стонал от боли, но засовывал пальцы все глубже в рану, пока не ухватил крепко какой-то твердый предмет; наконец он рванул его и вытащил из раны.

– О Господи!

– Вытащили? – спросил Збышко.

– Да. Прямо холодный пот прошиб. Ну а все-таки вытащил, погляди-ка!

И он показал Збышку продолговатый острый обломок, отколовшийся от плохо окованного жала стрелы и несколько месяцев сидевший у старика в теле.

– Хвала Богу и королеве Ядвиге! Теперь будете здоровы.

– Может, и полегче мне, но только страх как болит, – сказал Мацько, выдавливая нарыв, из которого обильно потекла кровь с гноем. – Коли станет во мне меньше этой пакости, так и боль отпустит. Ягенка говорила, что теперь надо смазать рану бобровой струей.

– Завтра же пойдем за бобром.

Утром Мацьку стало гораздо лучше. Он спал допоздна, а проснувшись, велел, чтобы ему подали поесть. На медвежье сало старик уже смотреть не мог, зато ему разбили на сковородке два десятка яиц – больше Ягенка не дала из осторожности. Мацько с жадностью съел яичницу и полкаравая хлеба, запил жбаном пива, развеселился и велел звать Зыха.

Збышко послал за соседом одного из своих турок, подаренных Завишей; Зых вскочил на коня и примчался после полудня, когда Збышко с Ягенкой собирались к Одстоянному озерцу за бобрами. Сперва старики за чарой меда смеялись, шутили и пели песни, а там заговорили о детях и давай расхваливать каждый своего.

– Ну и молодец же у меня Збышко! – говорил Мацько. – Другого такого на всем свете не сыщешь. И храбр, и быстр, как рысь, и ловок. Да вы знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девушки в окна вопили, точно кто их сзади шилом колол, да какие девушки – дочери рыцарей да каштелянов, а о всяких там красавицах горожанках и говорить нечего.

– Хоть они и каштелянские дочери и красавицы, а не лучше моей Ягенки! – отрезал Зых из Згожелиц.

– А разве я говорю, что лучше? Милей Ягенки, пожалуй, и не сыщешь.

– Я про Збышка тоже ничего худого сказать не могу: самострел натягивает без рукояти!..

– И медведя один пригвоздит к земле. Видали, как он его рубанул? Отхватил всю голову с лапой.

– Голову отхватил, а вот к земле не один пригвоздил. Ягенка ему помогла.

– Ягенка?.. Он мне об этом ничего не говорил.

– Он Ягенке обещал не говорить... Срам ведь девке ночью одной по лесу ходить. Ну а мне она тотчас рассказала, как все было. Другие рады соврать, а она от меня не таится. Сказать по правде, и я не обрадовался, кто ж их там знает... Хотел прикрикнуть на нее, а она мне вот что сказала: «Коли я сама девичьей чести не уберегу, так и вам, батюшка, ее не уберечь, да вы не бойтесь, Збышко тоже знает, какова она, рыцарская честь».

– Это верно. Ведь и сегодня они одни пошли.

– Но домой-то вернутся к вечеру. А лукавый ночью больше всего искушает, да и девке стыдиться нечего, потому темно.

Мацько на минуту задумался, а потом сказал как будто про себя:

– И все-таки льнут они друг к дружке...

– Эх! Кабы он другой не обещался.

– Да ведь вы знаете, это только рыцарский обычай такой... Коли нет у молодого рыцаря госпожи, так его считают простачком... Посулил ей Збышко павлиньи чубы, поклялся в том рыцарской честью, ну и должен содрать их у немцев с голов. Да и Лихтенштейна ему надо одолеть, а от прочих обетов аббат может его освободить.

– Аббат не нынче-завтра приедет...

– Вы думаете? – спросил Мацько, а потом продолжал: – Какая цена всем этим обетам, коли Юранд напрямик ему сказал, что не отдаст за него девку! То ли он другому ее обещал, то ли Богу обрек, я того не знаю, но только напрямик сказал, что не отдаст...

– Я вам говорил, что аббат любит Ягенку, как родную. Последний раз он сказал ей: «Родня у меня только по женскому колену, но помру я, так полны колени добра не у нее, а у тебя будут».

Мацько поглядел на него тревожно, даже подозрительно, и, помолчав с минуту времени, сказал:

– Нас-то не обидьте...

– За Ягенкой я дам Мочидолы, – ответил Зых.

– Теперь же?

– Теперь же. Другой я бы не дал, а ей отдам.

– Половина Богданца и так Збышка, а коли даст Бог здоровья, я наведу тут порядок, подниму хозяйство. Вот по сердцу ли вам Збышко?

Зых заморгал глазами и сказал:

– Хуже всего то, что Ягенка, как кто помянет его, так к стенке и отвернется.

– А когда вы других поминаете?

– Как других поминаю, она только прыскает и говорит: «Еще чего выдумали?»

– Вот видите. Бог даст, с такой девушкой Збышко забудет другую. Я уж старик, и то забыл бы... Меду выпьете?

– Выпью.

– Аббат, он умница! Аббаты, слышь, часто люди совсем мирские, ну а он, хоть и не живет с монахами, все-таки ксендз, а ксендз всегда даст дельный совет, не то что простой человек, потому он и грамотен, и со Святым Духом знает. А что вы теперь же дадите за девушкой Мочидолы, это правильно. Я тоже, коли, даст Бог, выздоровею, сманю у Вилька из Бжозовой мужиков побольше. Дам каждому по клочку хорошей земли, земли-то в Богданце хватает. На Рождество пускай сходят к Вильку на поклон – и айда ко мне. Что, разве нельзя? А там и городок в Богданце построю, хорошенькую крепостцу из дуба, и рвом ее обнесу... Пускай Збышко с Ягенкой ходят себе сейчас вдвоем на охоту... Скоро уж, видно, и снег выпадет... Привыкнут они друг к дружке, и забудет хлопец другую. Пускай себе ходят. Что тут долго толковать! Отдадите за него Ягенку или нет?

– Отдам. Давно уж мы задумали поженить их, чтоб Мочидолы и Богданец достались нашим внукам.

– Грады! – с радостью воскликнул Мацько. – Бог даст, внуки посыплются градом. Аббат их нам будет крестить...

– Пусть только поспевает! – весело воскликнул Зых. – А давно уж не видал я вас таким веселым.

– Сердце у меня прыгает от радости... Осколок-то вышел, ну а что до Збышка, так вы за него не бойтесь. Садится это вчера Ягенка на коня, а день-то ветреный... Я и спрашиваю у

Збышка: «Видал?» – а на него такая истома напала Да и то я смекнул, что на первых порах они мало друг с дружкой разговаривали, а сейчас как пойдут вместе гулять, так всё друг к дружке повертываются и всё говорят, говорят!.. Выпьем!

– Выпьем!

– За здоровье Збышка и Ягенки!

XIV

Старый Мацько не ошибался, когда говорил, что Збышко и Ягенка с удовольствием встречаются и друг без дружки даже скучают. Под предлогом посещения больного Мацька Ягенка часто приезжала в Богданец, с отцом или одна, признательный Збышко тоже то и дело наведывался в Згожелицы, так что с течением времени он свел с Ягенкой дружбу. Полюбившись друг другу, Збышко и Ягенка охотно стали «советоваться», то есть попросту болтать обо всем, что было им интересно. К дружбе у обоих примешивалось и восхищение: молодой и красивый Збышко, который и на войне уже успел прославиться, и в ристалищах принимал участие, и при королевском дворе бывал, по сравнению с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой казался девушке настоящим придворным рыцарем, чуть ли не королевичем, а Збышка порой просто изумляла красота девушки. В мыслях он оставался верен своей Данусе, однако не раз, в лесу ли, дома ли, взглянув вдруг на Ягенку, он невольно говорил себе: «Вот это лань!» Когда же, обняв стан девушки, он сажал ее на коня и чувствовал под рукой упругое, точеное тело, то приходил в смятение, «истома», по словам Мацька, нападала на него, кровь начинала играть в жилах и точно смашивал сон.

Ягенка, девушка по натуре гордая, насмешница и задира, с ним становилась сущей смиренницей, словно служанкой, которая только смотрит в глаза своему господину, как бы ему услужить, как бы ему угодить. Збышко понимал, как расположена она к нему, был благодарен за это ей и все больше искал с нею встреч. С тех пор как Мацько стал пить медвежье сало, они видались уже чуть не каждый день, а когда у старика вышел осколок и для затягивания раны понадобилась свежая бобровая струя, собрались вдвоем на бобровые гоны.

Прихватив самострел, они сели на коней и поехали на те самые Мочидолы, которые должны были пойти в приданое Ягенке, а затем свернули к лесу; оставив под лесом коней на попечении конюха, они пошли дальше пешком, так как через заросли и болота трудно было проехать верхом. По дороге Ягенка показала Збышку за широким, поросшим осокою лугом синюю полосу леса и сказала:

– Это лес Чтана из Рогова.

– Того, который хочет взять тебя в жены?

Она засмеялась:

– Взял бы, кабы далась!

– Тебе легко оборониться, возьми только Вилька на подмогу, он, я слыхал, зубы на Чтана точит. Диво, что еще не вызвали друг дружку на смертный бой.

– Едучи на войну, батюшка им так сказал: «Передеретесь, так на глаза мне не показывайтесь». Что им было делать? В Згожелицах они друг на дружку рычат, а потом в Кшесне пьют вместе в корчме, покуда под лавку не свалятся.

– Дураки!

– Почему же?

– Да покуда Зыха не было дома, надо было не тому, так другому дураку напасть на Згожелицы, да и взять тебя силком. Ну что бы Зых мог поделывать, кабы, воротившись с войны, да нашел тебя с младенцем на руках?

Голубые глаза Ягенки так и засверкали:

– Думаешь, я бы далась? Да что, в Згожелицах людей нету, а я не могу схватиться за рогатину или самострел? Пускай бы сунулись! Я любого прогнала бы домой да еще набег учинила на Рогов или Бжозовую. Батюшка знал, что может спокойно идти на войну.

При этих словах Ягенка так нахмурила свои красивые брови и стала так грозно потрясать самострелом, что Збышко рассмеялся и сказал:

– Тебе не девушкой быть, а рыцарем.

Успокоившись, она ответила:

– Чтан берег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да и аббат меня охранял, ну а с аббатом лучше никому не ссориться...

– Эва! – ответил Збышко. – Все тут у вас боятся аббата! А я вот, по чести скажу, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни згожелицких мужиков, ни тебя, клянусь Георгием Победоносцем, не побоялся бы, взял бы силком – и конец...

Ягенка стала как вкопанная и, подняв на Збышка глаза, спросила каким-то странным голосом, протяжно и мягко:

– Взял бы?..

Губы у нее раскрылись, и, зардевшись, словно зорька, она ждала ответа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.